



Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

Современная китайская проза

Ван Мэн
Шэнь Жун
Фэн Цицай

中国
现代
小说

王 蒙
冯 骥 才
谌 容

41

王 冯
 谌 骥
 蒙 容 才

**Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»**

Современная китайская проза

Перевод с китайского

Составление В. Сорокина

Предисловие Л. Эйлина

**Москва
«Известия»
1984**

И (Кит)
С 56

Главный редактор Н. Т. Федоренко

© Составление, предисловие, оформление, перевод на русский язык издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1984

Китайские писатели среднего поколения

Три китайских автора. Кто они? О чем их произведения, написанные в конце 70-х, начале 80-х годов? Для ответа обратимся к недавнему прошлому, к «великой пролетарской культурной революции», которая в Китае официально началась в мае 1966 года, неофициально закончилась со смертью Мао Цзэдуна, то есть после 9 сентября 1976 года и в конце концов названа была «десятилетним великим бедствием».

«Культурная революция», возглавленная так называемой «четверкой», потрясла и нарушила жизнь страны. «Раны, нанесенные «четверкой», еще далеко не затянулись и, по-видимому, требуется достаточно длительное время для их заживления. В особенности тяжел урон, причиненный людям: задержано обучение целого поколения, серьезные помехи претерпело овладение профессией двумя, даже тремя поколениями, осталось множество безграмотных, в том числе окончивших среднюю школу, возросла преступность среди подростков и молодежи, низок культурный уровень студенчества...» — свидетельствует писатель Лю Биньянь в докладе на собрании молодых любителей литературного творчества провинции Хэйлуцзян в мае 1979 года.

Уже теперь трудно поверить во все происходившее, но долго еще прошлое будет напоминать о себе поколениями невежд, душевной черствостью людей, воспитанных на безжалостном проведении в жизнь пустых и казенных лозунгов, доживающими свой век всеми теми, чье благополучие строилось на «культурной революции» и кто до сих пор цепляется за нее.

Не один ум в Китае задается вопросом о том, почему могли производиться бесчинства «культурной революции» в стране, где с древности почиталось человеческое слово, выходящее из уст великих национальных поэтов и мыслителей, в стране, где так ратовали после победы революции за чистоту мировоз-

зрения. «Почему мы больше десятилетия занимались воспитанием, два десятилетия строили, отвергли все упадочническое, довели нашу культуру до такой степени чистоты, а стоило подняться буре 1966 года, как наши подростки и молодежь взялись за ножи и веревки и принялись истязать своих учителей, директоров школ, истязать отцов и матерей? Откуда пришло это зло?» Такой, в общем, риторический вопрос, не спрашивая ничего, кроме собственного, ответа на него, задает в том же докладе Лю Биньянь, писатель, известный своим благородством и непримиримостью к злу.

Есть у Лю Биньяня приблизительный ответ: «Только при наличии исторического взгляда на события можно увидеть, что «четверка» не вдруг родилась из камня, и если бы не были предоставлены ей условия для возникновения, если бы не было соответствующей атмосферы для ее создания, могла ли бы она в 1966 году поднять эту огромную волну, добиться веры в нее стольких людей?» И дальше следует признание человека, заметим, выброшенного «культурной революцией» за пределы общества: «Включая и меня: я тоже безоговорочно поверил ей и только после 1974 года все осознал». После выступления Лю Биньяня появились статьи, в которых цитировалось мнение «ответственных лиц» о том, что «не грех бы объявить его «правым» еще на двадцать лет». Разоблачительный очерк Лю Биньяня «Люди и оборотни» был откровенно воспринят некоторыми как «антипартийная ядовитая трава». Так что борьба продолжалась.

Мысль Лю Биньяня о том, что «четверка» не вдруг родилась из камня, легко продолжить, если задуматься над закономерностью происхождения в Китае веры в «культурную революцию» и веры в «четверку». Она была предопределена образовавшейся привычкой к сменявшимся одно за другим «движениям» и приносимым ими с собою проработкам, от которых никто свободен не был, что прежде всего относится к интеллигенции и к «кадровым работникам». И «культурная революция», тем более подкрепленная авторитетом самого Мао Цзэдуна, надевшего на рукав красную повязку хунвэйбина,

была тоже воспринята как закономерность, как очередное «движение», сменившее собою «движение за борьбу с правыми», объявленное в конце 1957 года. А обернулась «культурная революция» невиданной бедой, когда кощунственно именем революции истреблялись люди и, как говорят в Китае, «искривлялись человеческие души».

Загубленные «культурной революцией» остались в памяти как вечный укор ей и ее инициаторам. Вернулись живые — постаревшие, больные, но готовые к возрождению страны и литературы. «Теперь поток времени принес меня в новую, полную солнечного света гавань, и жизнь моя под звуки непрерывных гудков начинает свой новый путь», — так думает в предисловии к «Избранному» 1979 года выдающийся поэт Ай Цин после более чем двадцатилетней ссылки. В мае 1982 года в выступлении, опубликованном в пятой книжке журнала «Шикань», он сказал, что в ответ на призыв писать просто и доступно для всех он подвергается анонимному поношению.

Какой же должна быть литература и каково ее место в обществе, освободившемся или, вернее, освобождающемся от ужасов перенесенной «культурной революции»? Есть ли необходимость возвращаться к ближайшим традициям или ждущая писателей действительность требует от них нового осмысления? Что до места литературы в китайском обществе, то оно неизменно, а «культурная революция» лишила Китай литературы. Искаженное общество не имело «ни одной книги, которую бы стоило прочитать» (Лю Биньянь). Но и подобное положение вещей тоже было подготовлено предшествующей заданностью литературы, пренебрежением к профессионализму художника, когда для литературы были характерны облегченность конфликтов, замена психологических столкновений только классовыми, мажорность тона.

Значит, ближайшая литературная традиция не могла удовлетворить ни общество, ни писателя. На страницы книг рвался исстрадавшийся Китай, жаждавший размышлений над тем, что же произошло. Уже появившихся размышлений о достоинстве человеческой личности, о якобы буржуазном гуманизме,

о свободе выбора темы, о совести писателя, о правде, которой надлежит быть единственным мерилom совершающегося. И литература нашла в себе силы откликнуться на призыв родины. Множеством произведений, напечатанных в литературно-художественных журналах (число которых перевалило далеко за шестьсот), опубликованных в газетах и вышедших отдельными изданиями. Писатель Сюй Хуайчжун в письме к писателю Ван Мэну, опубликованном в третьей книжке журнала «Вэньсюэ пинлунь» за 1982 год, пишет, что китайская литература «никогда еще так кровно, как нынешняя, не была связана с народными печальями и радостями».

Сам Ван Мэн первое свое произведение напечатал в 1955 году, когда ему было немногим больше двадцати лет. Через год в девятой книжке журнала «Жэньминь вэньсюэ» был опубликован его рассказ «Новичок в орготделе», сыгравший роковую роль в жизни писателя, жестоко раскритикованного за очернение действительности, достойной одного лишь воспевания, на собрании работников редакций пекинских литературных журналов, длившемся с 30 апреля до 6 мая 1957 года. На страницах печати Ван Мэн больше не появлялся в продолжение двадцати лет. Осенью 1977 года Ван Мэн встретился с Цинь Чжаояном, поместившим злополучный его рассказ в журнале и вскорости после этого сосланным на юг Китая в провинцию Гуанси. В статье о Ван Мэне, напечатанной в июльском номере журнала «Чайниз литерачер» за 1980 год, Цинь Чжаоян называет его тонко чувствующим, глубоко мыслящим, умным писателем. Вспоминая же злоключения Ван Мэна, Цинь Чжаоян подчеркивает, что то было время, когда литературе разрешалось только восхвалять.

Сын университетского преподавателя, Ван Мэн относится к тому первому поколению молодежи нового Китая, лучшая часть которого с детства участвовала в революционной борьбе. Он с одиннадцати лет воевал в Восьмой армии, в четырнадцать лет вступил в коммунистическую партию, работал в партийном подполье. В год опубликования рассказа «Новичок в орготделе» Ван Мэн принимал участие во всекитайском совещании

молодых писателей. Добрая половина их через полтора года была сметена с литературной арены. В некоторых городах все участники совещания были признаны «правыми». Ван Мэн окончательно вернулся в Пекин в июне 1979 года.

За время, прошедшее с приезда из Синьцзяна, где Ван Мэн жил с 1963 года, им написано много повестей и рассказов. Ван Мэна справедливо будет считать самым популярным китайским писателем, вокруг творчества которого идут непрерывные споры: он все время в движении, и невозможно предугадать, каким будет следующий его рассказ. По выражению китайской критики, даже его «Новичок в орготделе» — одно из тех многочисленных произведений пятидесятых годов, которые «сохранились в репертуаре», что уже немалая похвала. Писатель Фэн Цзицай пишет, что, прочитав рассказ Ван Мэна «Ночное зрение» (переведенный на русский язык под названием «Ночью в большом городе»), он был «вне себя от восторга». Мы готовы разделить это чувство.

Включенные в сборник рассказы Ван Мэна «Весенние голоса» и «Грезы о море» отражают ближайшие дни, но никак не прорывают с прошлым да и не могут отвлечься от прошлого, потому что в «Весенних голосах» сын едет к отцу, с которого наконец-то снят ярлык «помещика», потому что в «Грезах о море» чистоту природы нельзя не сравнить со смрадом камеры, и хотя вполне естественно желание стряхнуть с себя кошмар воспоминаний и посвятить литературу отображению действительности, пришедшей на смену «культурной революции», что и проводится все упорнее с каждым годом, но ведь и новая действительность рождается в противоборстве с прошлым, так что от «культурной революции» честному сердцу никуда не уйти, и это надолго. «Весенние голоса» и «Грезы о море» представляют собою авторские лирические монологи, воспоминания и сравнения, по существу продолжая линию рассказа «Ночное зрение», только что написаны они несколько позднее и в них уже больше жизнеутверждающей силы. Писатель все видит, и он знает, что прекрасна сама жизнь человека, и уверяет читателя в этом.

Недавние произведения Ван Мэна дали повод к суждениям о том, что (прочитав Фэн Цицаю) «Ван Мэн применяет в своем творчестве западный поток сознания». Это из опубликованной Фэн Цицаем беседы с английским синологом. Фэн Цицай отвечает англичанину, что в случае с Ван Мэном можно бы и не ссылаться на Запад: подобный прием свойствен старой китайской поэзии. Надо согласиться с Фэн Цицаем. Стоит прочитать «Дикие травы» Лу Синя, чтобы увидеть, сколь характерен этот «прием» и для китайской новой литературы и как достаточно было Ван Мэну обойтись одной национальной традицией. Обоснованно и заключение Фэн Цицаю о том, что Ван Мэн — самый современный писатель, но что он не западный, а подлинный китайский современный писатель.

Но все же вопрос о Западе в применении к китайской литературе не снимается, в частности, и в отношении Ван Мэна. Западная литература известна и близка китайской интеллигенции, и писатели широко пользуются ею в своих произведениях: герой «Грез о море» сравнивает горьковское море перед бурей с ярким андерсеновским, с морем Лондона, Хемингуэя; он же вспоминает стихи Пушкина, Лермонтова, Байрона, Шелли, Уитмена; Настя из «Повести о директоре МТС и главном агрономе» Г. Николаевой влияет не только на героя рассказа «Новичок из орготдела», но некоторым образом и на самого автора; в рассказе Лю Синью «Классный руководитель» девочка Ши Хун читает «Часы» Л. Пантелеева; в спорах в печати о том, какой должна быть любовь, возникает пример Павла Корчагина; в книжном каталоге сказано о Тургеневе, что «он любим нашим китайским читателем» и что его герои «в сердцах читателей оставили глубокий след», и т. д. и т. д.

Нынешняя китайская литература создается вернувшимися к писательскому труду старшими мастерами, писателями среднего возраста и молодыми. Сорока-, сорокапятилетние люди «среднего возраста» — это те, кто успел до «культурной революции» окончить школу или даже высшее учебное заведение и, значит, входит сейчас в самый активный слой китайской интеллигенции. На них ложится главная ответственность за строи-

тельство в стране, за воспитание следующих поколений. «Средний возраст» — называется повесть писательницы Шэнь Жун. Шэнь Жун родилась в 1935 году. Ей знакома не только городская жизнь: во время «культурной революции» она несколько лет провела в деревне. Перу Шэнь Жун принадлежат два романа, повести и рассказы, в том числе на деревенскую тему. Повесть «Средний возраст», много раз переиздававшаяся, впервые была опубликована в январско-февральском номере двухмесячного журнала «Шоухо» за 1980 год. Содержание ее относится ко времени, непосредственно последовавшему за «культурной революцией», и в повести нет-нет да прорываются воспоминания о ней, а если говорить точнее, то повесть, конечно, пронизана недавними тревогами и бедами, следствием которых явилась и болезнь героини. Герои повести — люди среднего возраста. Писательница не забывает об этом, и даже в больнице за каталкой с умершей тоже идет незнакомый нам «мужчина средних лет», а сановная дама Цинь Бо, жена заместителя министра, не устает разглагольствовать о том, что основа всего — «кадры средних лет».

В «Среднем возрасте» много авторских рассуждений, живых и поэтичных, кстати сказать довольно характерных для нынешней китайской прозы. Из повести узнаются многие особенности жизни Китая после «культурной революции», и мы снова видим, что при изображении этой жизни без упоминания «культурной революции» не обойтись. Это она помешала служебному продвижению героини, это при ней заместитель министра Цзяо семь лет просидел в тюрьме, а директор больницы Чжао подметал двор и находился в школе по перевоспитанию кадровых работников, при ней цзаофани ворвались в операционную и потребовали не возвращать зрение «предателю», а потом вывесили дацзыбао: «Скальпель Лу Вэньтин на службе у ренегата Цзяо Чэнсы — это подлая измена делу пролетариата». Над «культурной революцией» уже и пошучивают, но это горькие шутки, вроде цитат из цзаофаней: «Вы выросли на крови и поте рабочих и крестьян, вам нельзя предавать их».

Писательница создала интересные, типические образы. Время не оказало своего влияния на сановную даму Цинь Бо, по-прежнему поучающую всех на привычном ей политическом жаргоне кадровых работников. «Эта дама — «марксистка-ленинка», — иронически отвечает старый врач на вопрос о ней. Мимолетна фигура шофера, но это он противопоставлен жестокому бюрократизму, душевно отозвавшись на просьбу отчаявшегося мужа Лу Вэньтин, когда ее надо было отвезти в больницу.

Есть перемены в жизни — рекламы модной одежды, витрины магазинов, крестьяне, торгующие на улицах. Но героиня по-прежнему все живет в тесной комнатухе с мужем и двумя детьми, и когда она заболевает, то вдруг обнаруживается, что наедине с нею муж впервые за все десять лет их совместной жизни. Прекрасен хотя и не выписанный в душевных движениях, а скорее показанный в поступках образ героини, самоотверженной в большом и в малом дочери народа, в увлечении трудом на службу ему безбоязненно встречающей удары «культурной революции». Путь ее прям, и автор не обольщает нас: после болезни она возвращается в ту же каморку.

Повесть тяньцзиньского писателя Фэн Цицай «Крик» посвящена человеку среднего возраста немного более раннего времени — трагических шестидесятых годов. Фэн Цицай родился в 1942 году, публикует свои произведения в китайской печати с 1977 года. Он — писатель и художник, автор двух исторических романов, нескольких повестей, многих рассказов и публицистических статей, по утверждению китайской критики, «известный изображением интеллигенции нового времени», что сам Фэн Цицай называет «дарованной жизнью милостью» и своим «жизненным назначением». Его повесть «Крик», написанная в конце 1979 года, была (как и «Средний возраст» Шэнь Жун) удостоена премии среди лучших произведений 1977—1980 годов. Герой повести — научный сотрудник института истории, смиренный, безответный человек, ставший таким от испуга перед карающей дланью «движений». Предостережением для него служит судьба старшего брата, попавшего в свое время в «правые». Повесть рассказывает об осуждении и помиловании

ее героя, о фарсе, разыгранном «культурной революцией» на маленьком ее участке. Но есть здесь все присущее ей — и доносы, строчащиеся для того, чтобы отвести «вину» от себя, и превращение умных, образованных людей в дрожащее от страха бессмысленное стадо, и те одиночки, которые отделяются от обезумевшей толпы и в какой-то мере выражают свой протест.

Писатель показывает, как происходит созревание его героя для «саморазоблачения», как предаёт он себя, как отправляет на гибель тех, чьи имена вытягивает из него упивающийся своею властью единоличный диктатор, невежественный проводник идей «культурной революции» в институте, как гасит он последний в своей жизни светильник, в отчаянии распростившись с женщиной, которая могла бы скрасить скучную его жизнь. Но вот описывается сцена помилования — герой верит в правду тех лицемерных слов, которые говорят ему палачи, и заливается слезами, и, умиленный, кричит: «Да здравствует великая пролетарская культурная революция!», а перед глазами читателя невольно предстает бессмертный изобретатель «моральной победы» лусиневский А-кью. Да, так написать, так увидеть самые крупницы национального характера, с такою болью воспринять изображаемую действительность «культурной революции», так разгадать и активно возненавидеть ее во всей ее сущности мог только китайский писатель, и Фэн Цицзай это совершил.

Глубокая симпатия, испытываемая автором к его незадачливым героям, особенно ощутима в рассказе «Высокая женщина и ее муж-коротышка». Нам не сообщены даже имена этой пары, но мы знаем о них все остальное, весь обиход их жизни под взглядами торжествующих соседей и под неусыпным оком никого не оставляющей вне поля своего зрения «культурной революции». Внешне почти спокойная манера описания деталей дома и двора, вплоть до ледящего душу «суда» над инженером и его женой, манера даже публицистическая, с такими прямыми высказываниями, как то, что «искренность тогда ничего не стоила», тонкая наблюдательность, позволяющая автору заметить, что герой после смерти

жены поднимает свой зонтик так, как будто под зонтиком по-прежнему есть место еще (а для кого — читатель догадывается сам), — все это привело к рассказу, незаурядному по силе воздействия.

Так выглядит китайская литература наших дней в представленных двух повестях и трех рассказах литераторов среднего поколения — Ван Мэна, Шэнь Жун и Фэн Цицзя. Пусть читатель запомнит имена этих писателей: все говорит за то, что при благоприятных условиях для их творчества ему еще не раз предстоит встретиться с ними. Пожелаем им успеха в труде по созданию новых талантливых произведений.

Л. Эйдлин

Ван Мэн

Весенние голоса

Рассказ

Грезы о море

Рассказ

王
蒙

ВАН МЭН

родился в 1934 году в Пекине.

Еще подростком воевал в рядах революционной
Восьмой армии,

работал в партийном подполье.

Начал печататься в 1955 году.

Через год рассказ Ван Мэна

«Новичок в орготделе»

был подвергнут жестокой критике
за «очернение действительности».

Автор сослан в деревню.

Вернулся в столицу в 1979 году.

Повести и рассказы Ван Мэна,

изданные в последние годы,

пользуются неизменным

успехом у читателей.

Его рассказ «Весенние голоса»

получил первую премию

на Всекитайском конкурсе

лучших рассказов 1980 года.

В 1981 году повесть Ван Мэна «Мотылек»

удостоена первой премии журнала «Вэнь бао»

за лучшие повести 1977—1980 годов.

Весенние голоса

Что-то гроыхнуло — и настала ночь. Желтоватая луна, большая и квадратная, появилась на противоположной стене. Судорожно сжалось и тут же вновь ровно забилося сердце Юэ Чжифэна. Чуть заметно тряхнуло вагон. Чуть заметно качнулись пассажиры. О, сладостная люлька детства! Летней порой, бросив одежонку под раскидистое дерево, голополая ребятня ныряет в студеную воду родной речушки — метров на десять. И кто угадает, где чья голова вынырнет? Кто сосчитает, сколько головастиков заглотнул он вместе с водой? Закрыть глаза, подремать на поверхности, где солнце искрится и тени деревьев плывут... Да-да, вот так же покачивало, легонько-легонько. Отчий край, детские годы, ушедшие в прошлое, но как будто еще не утраченные! Осуждаете вы меня или приветствуете? Могила матери, отец, приближающийся к могиле...

Дрогнула, исчезла и возродилась вновь квадратная луна. В одно из квадратных окошечек проник пучок лучей — то ли отблеск заходящего солнца, то ли стационарный фонарь. Почему же остальные три окна будто наглухо задраены? Ну и тьма, словно полдень сменился полночью. С грохотом захлопнулись двери тамбура, отгородив от внешнего мира. А это что за звук, все сильней и сильней? Градины по крыше? Или молоток по гвоздю? Ковалеми полны деревни на лессовом плато* — плечи родины вздулись буграми мышц! Ах, ну конечно, это всего лишь колеса стучат на стыках. «Звонкий ручей» — кажется, так называется популярная песенка. Неужели поезд так звонко стучит? А ведь здорово живется этим гуанчжоусцам**! Не то что у нас, на северо-западном плато, где все

* Район на северо-западе Китая. Именно туда едет герой рассказа. (*Здесь и далее — примечания переводчиков.*)

** Жители г. Гуанчжоу (Кантон) на крайнем юге Китая.

пропылено лессом — и лица людей, и стекла домов. В Гуанчжоу под тенистыми навесами висят треугольные керамические пластины, их раскачивает ветер, они мелодично позванивают, и сердце радуется. Да, а вот американская абстрактная музыка может с ума свести. Что, интересно, почувствовал Киссинджер, услышав у нас арию Ян Цзыжуна*? В цзинцзюй стоит такой грохот гонгов и барабанов. От шума-то радости мало, правда? А постукивание колес поезда, набирающего скорость. — оно бодрит, вселяет надежду. На следующей станции, или на следующей после следующей, или на следующей после многих и многих следующих станций — где-то там ждут тебя жизнь, которую ты ищешь, мать или дитя, друг или жена. горячая ванна или обильный стол. К Новому году все спешат домой. К Празднику весны, нашему прекраснейшему, старинному народному празднику**. Хвала Небу, теперь нам позволено в радости встречать Новый год. Праздник весны больше не запрещают под видом «революционизации».

А ведь в самом деле любопытно. После трехмесячной командировки за границу он какое-то время жил в Пекине, в гостинице по высшему разряду. Отчеты, доклады, беседы, информации... А потом пришло письмо от отца — старику за восемьдесят, он только-только избавился от ярлыка «помещик». И Юэ Чжифэн решил прокатиться в родные края, с которыми расстался лет двадцать назад. Не зря ли он это затеял? Трудно было представить себе, что его на два часа сорок семь минут запрут в какую-то теплушку! Еще три часа назад он восседал в широком, комфортабельном кресле «Трайдента» — «Трезубца», летящего по маршруту Пекин — город Н. Еще два месяца назад он занимал каюту парохода, плывущего по Эльбе в Гамбург. А сейчас, как сардина в банке, стиснут пассажирами, утомленными долгой дорогой, с неразличимыми во тьме лицами. Не понимает даже, в какую сто-

* Персонаж спектакля «Взятие горы Вэйхушань», созданного в модернизированном жанре традиционной пекинской музыкальной драмы (цзинцзюй). Один из «образцов» периода «культурной революции».

** Новый год по народному лунному календарю, в разные годы приходится на вторую половину января или февраль.

рону движется поезд — то ли вместе с луноподобными бликами, мелькающими перед глазами, то ли навстречу им? Он, инженер-физик, битый час ломает голову над этой проблемой отнюдь не из области геометрической оптики, а ответить смог бы и первоклашка.

Лет двадцать не был он в отчем доме. И кто это только сунул его не в ту утробу*? Помещик, помещик! В 1956 году побывал он дома, и этого оказалось более чем достаточно: каких-то четыре дня — а потом двадцать два года занимался самокритикой! Великий человек выдаст идею — и люди потом сотню лет ее изучают и претворяют в жизнь. Да, но вот что смущает: неужто жизнь дана человеку для самокритики? Неужто он родился в Китае лишь для того, чтобы по гроб жизни бить себя в грудь? Ладно, все это уже в прошлом. Безостановочно движется конвейер на автозаводе «Бенц» в Штутгарте, а в чистых, светлых цехах — тишина. «Симменс и сын» — фирма что надо, одна история — сто тридцать лет. Мы ведь лишь первые шаги делаем. Догоним, догоним! Как бы ни было трудно. Ту-ту-ту! — сейчас отправляемся, сейчас отправляемся, отправляемся, сейчас, сейчас, с глухих постукиваний на три такта колеса переходят к мощным взвизгам на два такта. И наша теплушка — в путь. Что же тогда говорить о «Трезубцах» в небе?

От пыли и сигаретного дыма во рту горьковатый табачный привкус. Так бывает, когда врач делает прижигание в трахее или в легких. Иглой «мэйхуачжэнь» попадает в точку легкого. Запах пота помягче. А колорит здешнего говора — где-то между потом и табаком: и резкий, и родной. О, еще и тыквой запахло! Кто же тут тыкву ест? На вокзальной площади в N вроде бы тыквами не торговали. Когда-то здесь много было всякой съедобной мелочи, местных деликатесов. Ну, там, арахис, грецкие орехи, семечки подсолнечника, сушеная хурма, хмельные финики, сладкие бобовые лепешки, батат, папорот-

* Согласно буддийским верованиям, душа в каждом новом перерождении попадает в новое тело, родившееся на Земле в тот момент, когда она остается без прежнего тела.

ник в кунжуте... — все было. А потом фокусник двумя перстами левой руки махнул красной тряпичей — и все пропало, а за деликатесами стали исчезать спички, электрические батарейки, мыло. Ну, сейчас-то все разом переменялось, там-сям поширишь — еще и не то отыщешь. Сушеная хурма да финики вещь немудреная, а на душе сладко. Юэ Чжифэн надкусил сушеную хурму, купленную перед посадкой, и принялся тщательно жевать, ища сладостный вкус детства. Горечь, та ощущается мгновенно, а сладость таится в глубинах. Надо очень хотеть, набраться терпения, опыта, иметь тонкое восприятие. В едком табаке и жгучем запахе пота Юэ Чжифэн учуял бобовый привкус родных мест. До чего же он любил молодые побеги бобов, не меньше любил он серых зайчишек, да вот беда — зайцы вечно поедали бобы. По три дня, на одном дыхании он гонялся за ними с палкой, так что перед глазами начинали раскачиваться деревья на межах. А как-то в осеннюю лунную ночь собственными глазами увидел серебристую лису — как небожительница, как сновидение, она беззвучно скользила по тропе.

Шум поезда стал затихать, шум поезда прекратился. Загремели, забурлили голоса людей. Громыкнула, распахиваясь, железная дверь тамбура, и проводница, рослая, плотная девушка, без труда переходя на местное наречие, принялась руководить посадкой и высадкой. «Мест нет, мест нет, идите в другой вагон», — кричали уже устроившиеся эгоисты. Но кричали зря. Бурлили, суетились пассажиры в вагоне. Суета, словно у нас на Ванфуцзине*. Не то что в Гамбурге, там на улицах, можно сказать, пустота, да и вообще городское население тает. Когда Юэ Чжифэн с аэродрома ехал на вокзал в N, он испуганно вздрогнул: и белизну снега, и листву вечно-зеленого остролиста поглотило чернущее море голов. Не случилось ли чего? В 1946 году, во время студенческих волнений, не бывало таких скопищ, а ведь тогда толпы на вокзальной площади штурмовали поезда, собираясь двинуть с петицией

* Торговая улица в центре Пекина.

в Нанкин! Учась в университете в Бэйпине, Юэ Чжифэн как-то бродил по дворцам Гугуна*. Было часа четыре — хоть бы тень человеческая, в палатах мрачно, и по спине пробежал холодок. Он выскочил из Гугуна, втиснулся в трамвай и лишь тогда чуть успокоился. Не поторопись он, чего доброго, вылез бы из колодца призрак прекрасной императорской наложницы Чжэньфэй и уволок его вниз!**

Но теперь перед южными и северными воротами Гугуна змеятся бесконечные очереди в кассы. И не только по воскресеньям. А в Н такая толпа перед вокзалом, что голова кружится. Словно пол-Китая усаживается в поезда в канун Праздника весны. Тут встречи, там свидания, пельмени да юаньсяо*** к радостной встрече, всех влечет к старым друзьям, покинутым родичам, к родительской ласке, к отчуждению, к волнующей встрече с детством. Хватают пирожки с мясом — только из печи, ватное одеяльце, наброшенное сверху, пропиталось маслом. Хватают лепешки — жареные, крошечные, толстые, хватают хворост в масле. Коробками скупают печенье. Берут булки и бисквиты. Все силы вокзала и пищевой компании в Н были брошены к лоткам на привокзальной площади, и все равно приходилось пролить немало пота, чтобы купить пару лепешек. Ну и взмок же Юэ Чжифэн! Кое-как подкрепился (и мир, и Юэ Чжифэн живут в такой спешке, что он перестал ощущать голод и жажду), купил билет на местный поезд до отчего дома. Взволновался, когда вдруг дали сдачу: написано юань двадцать, а ему почему-то вернули шесть цзяо****. Может, он невнятно произнес название станции? Хотел было переспросить, но следующий из очереди уже привалился к кассе — не протолкаешься к окошечку.

Он мрачно изучил билет. Черным по белому четко напе-

* Бэйпин — старое, гоминьдановское название Пекина. Гугун — резиденция императоров, превращенная в музей, — анфилада дворцов за крепостной стеной.

** Чжэньфэй, наложница последнего императора династии Цин, свергнутого революцией 1911 г., бросилась в дворцовый колодец.

*** Пирожки из рисовой муки с начинкой — традиционное новогоднее блюдо.

**** Юань состоит из 10 цзяо, 1 цзяо — из 10 фэней. Юань двадцать — это 12 цзяо.

чатано — 1 юань 20. А поверх этого двойным пунктиром — два огромных, во весь билет, иероглифа — шесть цзяо. Он совсем запутался, словно перед ним был какой-нибудь генетический код. «В чем же дело? Ведь я отдал ей ровно юань двадцать, а она возвращает мне шесть цзяо?» — бормотал он. Попытался выяснить у пассажиров, но никому до него не было дела. Все суетились перед приходом поезда, были поглощены собой, и понять их нетрудно.

В мозгу прокручивались разные картинки. Чернущая толпа. Промасленное одеяльце на пышущих жаром пирожках с мясом. Гигантские иероглифы объявления в зале ожидания: информация о дополнительных поездах на период Праздника весны, расписание временных рейсов. Длинные очереди жаждущих облегчиться перед дверьми мужской и женской уборных. Двойной пунктир иероглифов «шесть цзяо». Узлы и узелки, корзины и корзиночки, свертки и пакетики... Да, понял он, последний отрезок пути будет весьма трудным. И когда он таким образом настроился, до него, наконец, дошло, что же это за слово, которое то и дело прилетало к нему из болтовни пассажиров, — «теплушка». Человеческий мозг, в конце-то концов, сообразительней электронного.

А когда подошло время садиться, он и вовсе приуныл. Близится первый в восьмидесятые годы двадцатого века Праздник весны, а люди, грезящие четырьмя модернизациями, штурмуют теплушки времен Уатта и Стивенсона! Ну и фактик. Вселенная — это факт, земной шар — это факт, гора Хуашань и река Хуанхэ, вода и земля, водород и кислород, титан и европий — все это факты. Ну а всякие там чувства — нежность, черствость, — их люди придумали. Теплушка забита до отказа. Полно людей, и между ними свободного пространства не больше, чем между составляющими их молекулами и атомами... Разве не так? Трудно себе представить, чтобы сюда мог втиснуться кто-нибудь еще! И никто не возопит.

Возопил-таки: «Чемодан продавишь!» Какая-то женщина попыталась сесть на чемодан, прижимая к себе ребенка, завернутого в шарф. Юэ Чжифэн поспешно поднялся, предлагая

свою боковушку: «Идите сюда, сюда». О, это было великолепно «купе», тут удавалось даже к стенке привалиться! Женщина чуть смутилась, но все же стала пробираться, прижимая к себе младенца и стараясь не оттоптать чужих ног. «Благодарю вас!» — произнесла она беглым пекинским говором. Подняла голову... набросок углем — так показалось Юэ Чжифэну. А подпись — «Улыбка».

Прозвенел станционный звонок, загрохотали двери тамбуров, захлопываясь, нагнетая тьму. За окном уже сгустились сумерки. Коренастая проводница зажгла белую свечу, установив ее под стекло квадратного фонаря. Свеча? Почему не керосиновая лампа? А, бояться, что расплещется на ходу. Одна свеча — на весь большой вагон. Ее слабое мерцание превращает пассажиров в тени. Сотрясается поезд, по стенке напротив быстро мелькают квадратные пятна света. И близятся родные края... Ярлык сняли, ждет встречи с сыном — теперь можно и глаза закрыть спокойно, да, отец? Ведь стоит тебе исчезнуть — и, как дым, развеются мгновенно и преступление твое, и раскаяние, и слезы, и благодарность, и свирепость, и злобность, и честность, и доброта. Один за другим удаляются старики на тот берег реки. Шарк-шварк, шарк-шварк — это они переходят ее по мосту. О, мосты, соединяющие прошлое и будущее, Китай и другие страны, города и деревни, тот берег с этим!

Черный мрак и белые пятна света от близкой свечи четко лежат на лице проводницы. Как на иконе в полный рост. «Товарищи пассажиры, в дни Праздника весны железнодорожное движение особенно напряжено. Наш поезд введен, чтобы разгрузить дальние маршруты... Будьте внимательны...» — она говорит энергично, выталкивая слова, точно закручивая гайки. Из круглого пятна света она с неколебимой уверенностью и командирским духом своего малолетства управляла стайей пассажиров. Но ее голос тонул в неистовом, трижды неистовом гуле, грохоте, тарыхтенье.

Свободный рынок. Универмаг. Гонконгские электронно-кварцевые часы. Фильм «Свернутая циновка» по хэнаньской

драме. Пампушки с бараниной. Омлет с рисом. Кроссовки. Жокейки. Производственные задания по группам. Заготовка лука. Китайская медицина побеждает рак. Предвыборная конкуренция кандидатов. Свадебное пиршество... Обволакиваемый словесами, Юэ Чжифэн переминается с ноги на ногу. Какое счастье — иметь две ноги, а то как было бы неудобно, когда людей и вещей набито до отказа. Иголку негде воткнуть: до Юэ Чжифэна только сейчас дошел смысл этой поговорки. Наверно, вот в таких же древних колымагах и ездили древние — в толчее, без света, без свободных мест? Да, но ведь сумел же он предложить «сидячее место» той женщине. Впрочем, место — да, но сидячим назвать его трудно. Вот уж не думал, что она заговорит по-пекински. Это просто заинтриговало Юэ Чжифэна. «Благодарю», «извините» — для заграницы такие формулы вежливости обычное дело. Но тут-то, выпирая из мешка, какие-то железки давят ему на икру правой ноги. А к левой, невыносимо затекшей, откровенно привалилась спина соседа.

Ну и чудеса! Не только в мюнхенском театре, но и в Пекине, в НИИ, министерстве, гостиничном номере в 23 квадратных метра, в 103-м и 332-м автобусах — нигде ему и в голову не приходило, что людям, выходит, еще нужны и теплушки. Постоите, а это не товарный? Не вагон для перевозки скота? Вот невезенье! Хотя, собственно, в чем же невезенье? Поносить-то легче легкого. В том числе и эту теплушку, сравнивая ее с прекрасными, комфортабельными современными пассажирскими поездами, — к чему так выпендриваться? Этак слюной вечно брюзжащих лоботрясов будет затоплен труд людей, вкалывающих вопреки всем и всяческим поношениям. Вместо кропотливой, час за часом, день за днем, год за годом работы — нападки, то шепотком, то на высоких тонах.

«До чего ж мерзкие сиденья!»

«Ишь, привереда. Раньше-то и железной дороги не было!»

«Солдат всегда запирают в теплушки, чтобы, неровен час, не увидел кто».

«А ну как понос прихватит, тут ведь и уборной нет».

«Ладно, пока же в штаны не наложил».

«Что делать? Каждый Праздник весны сто миллионов с хвостиком лезут в поезда...»

Слушал в темноте эти реплики. И утихомиривалась душа Юэ Чжифэна. Ведь в самом деле, тут когда-то ни железной дороги не было, ни шоссе, ни даже дорожки для велосипеда. Кто побогаче, тащился верхом на осле, кто победнее — на своих двоих. Крестьяне, взвалив на плечи корзины с тысячью яиц, пускались в путь затемно и лишь в сумерки, миновав несчетное число речных долин и могильных курганов, добирались до города N. О, моя дорогая земля, прекрасная, но оскудевшая! Неужели и к тебе придет изобилие? Как дым, как туман, рассеются горькие воспоминания. Не все, не все — все не должно уйти из памяти! Но история — историей, действительность — действительностью, мечты — мечтами. Би-би, пшш-пшш... Трах-тарарах... Скоростная магистраль вдоль Рейна. Виноградники по склонам. Темно-зеленый ток воды. Стремительное коловращенье мира.

Не франкфуртская ли это ребятня? Мальчишки и девчонки — глазенки карие, голубые — носятся друг за другом, бегают, прыгают, визжат от восторга. Птичек прикармливают, цветы рвут, в трубы трубят, флаги вздымают. Звуки радостного бытия. Волнующие кличи дружбы. Розы — красные, розовые, белые. Левкои, голубые незабудки.

Нет, это не Франкфурт. Это мое родное северо-западное плато. На серой черепице крыши расцвел огромный куст сирени. словно снег, словно яшма, словно вспененная волна. Сорвать изумрудный листок ивы, свернуть в трубочку и, подняв голову к белым тучкам на синем небе, дунуть в эту пронзительную свистульку. Вспугнуть двух крохотулек — желтеньких иволг. Пойти за старшей сестрой собирать в корзиночку пропыленные овощи. Швырять камни, гоняться за зайцами, подбирать яркие, пестрые яйца перепелок. Забавляться всем — и щенком, и котенком, и теленком, и жеребенком. Плясать с каждой былинкой.

Нет, это не северо-западное плато. Это Бэйпин до осво-

бождения*. Студком, подведомственный отделу по работе в городах Бюро ЦК по Северному Китаю (начальник отдела — товарищ Лю Жэнь**), устроил широкую встречу студентов Бэйпина и Тяньцзиня. Вечер у костра. Песня за песней рвутся из молодых сердец: «Солнце за гору опустилось, завтра утром поднимется вновь. По весне возвращаются птицы... А моя весна не вернется»; «Кому обработать пустырь на горе? Кому посеять цветы на земле?» Кончилось это, к вящему ужасу гоминьдановского агента, мощным возгласом: «В единении сила... Долой все недемократические системы!» Убежденность и счастье всегда идут рука об руку.

Нет, это не Бэйпин, ушедший в невозвратные дали. Это освобожденная, осененная пятизвездным красным знаменем*** столица. Это первая любовь его юности, это ветерок, своим мягким дуновением впервые пронявший его до самого сердца. Только отшумел Праздник весны, как вдруг ему показалось, что ветер уже не такой свирепый, не такой пронизывающий. Февральский ветер принес надежду на тепло, дыхание ранней весны. Он помчался в парк Бэйхай. Лед еще не подтаял, в парке никто не гулял. Но он сорвал шапку, расстегнул верхнюю пуговицу. Что вы говорите, еще зима? Ну, конечно, еще зима. Но уже зима, смыкающаяся с весной, мостик между зимой и весной. Ветер — вот доказательство, ветер уже не такой холодный! И еще будет теплеть и теплеть, я словно захмелел, я словно сомлел... Пусть другие мерзнут, он не возражает, он даже приветствует, но сам он ликовал и шепотом этот «весенний» ветер называл именем девушки, которую тайно любил.

Это, это... Что же это такое в конце концов? Золотые рыбки и улитки? Болотница и земляника? Камышевка на яйцах? Горный ручей, орешек вяза, свежие всходы, спарившиеся ласточки? Надо взять себя в руки. Это весна, это жизнь, это

* До 1949 г.

** Впоследствии стал вторым секретарем горкома Пекина, погиб в годы «культурной революции».

*** Государственный флаг КНР.

пора юности. Разве сила весны, голос весны — не всюду: в нашем бытии, в каждом сердце человеческом, в созвездии Ориона, в созвездии Кассиопеи, в каждом ядре атома, в каждом протоне, нейтроне, мезоне?

Он взял себя в руки, протер глаза. И ему стало ясно: это же поют франкфуртские ребятишки, ну, конечно, немецкий язык. Бодрому детскому хору тихо, с каким-то затаенным упорством подпевал женский голос.

Он взял себя в руки, снова протер глаза, и ему стало еще яснее: это теплушка поезда N — X. Сквозь тьму, сквозь шум летит к нему детский хор, поющий по-немецки, и вторит ему чуть слышный, неумелый, но очень старательный женский голос.

Что?! Магнитофон? В этакое-то месте — магнитофон! Песня, еще одна и еще одна, уже взрослая. Когда прокрутились три песни, раздался — трак! — щелчок клавиши, и песни начались сначала. И вновь возник чуть слышный, неумелый, но упорный женский голос. Все шумы перекрыли эти голоса.

Долгим гудком прокричал паровоз. Замедляют бег и становятся ярче квадратные пятна света на стенке напротив. Пассажиры, превращенные тьмою в тени, обретают объемы и очертания. Раз, другой трянуло вагон, вероятно, на стрелке. Опять станция. Гроыхнула железная дверь тамбура, сильный свет станционных фонарей залил вагон. И Юэ Чжифэн разглядел: магнитофон лежит на коленях той самой женщины, что прижимала к себе ребенка. В вагон, из вагона засновали люди. Послушный воле хозяйки, магнитофон щелкнул и замолк.

«Это... какой марки?» — спросил Юэ Чжифэн.

«Санъё»*. «Козлик», как его тут называют в шутку», — взглянув на него, просто объяснила женщина. Юэ Чжифэну показалось, что он сумел разглядеть ее лицо — молодое и чистое, хоть и отпечатались на нем грозы.

«В Пекине купили?» — неизвестно почему заинтересовавшись, продолжил он расспросы. Раньше не распускал так язык.

* Известная японская радиотехническая фирма.

«Нет, здесь».

Здесь? В N или каком-нибудь уездном городишке еще поменьче? Много таких миновал наш поезд. Неясно. Он взглянул на марку — «Санъё».

«Разучиваете иностранные песни?»— вновь спрашивает Юэ Чжифэн.

Женщина смущенно улыбается: «Нет, учу иностранный язык». Улыбка хоть и скромная, но с чувством собственного достоинства.

«Немецкий?»

«Ага. Еще не владею как следует».

«А что это за песни?»— поинтересовался молодой человек, сидевший у ног Юэ Чжифэна. Многие обратили внимание на поток вопросов.

«Это... «Ты вернулась, птичка», «Майский хоровод», «Первоцвет табака»,— объяснила женщина и тихонько забормотала себе под нос: «Химмель — небо, фогель — птица, блюмен — цветы...»

Разговор прервался. По вагону носились все те же возгласы: «Не дави!», «Эта скамейка занята!», «Не толкайте ребенка!», «Да нет же здесь мест!»...

«Все — внимание!— человек в полицейской форме с мегафоном на полупроводниках вошел в вагон и, еще не переведя дыхания, объявил:— В передний вагон только что забрались два прохвоста, воры и хулиганы, любители половить рыбку в мутной воде. Есть такие жулики — специально шарят по теплушкам. Этих прохвостов мы взяли. Товарищи пассажиры, повысьте бдительность, сплотитесь и встаньте на решительную борьбу с уголовными элементами. Все меня слышали?»

«Слышали!»— дружно, как школьники, закричали пассажиры.

Довольные полицейский и кондуктор поспешили со своим мегафоном дальше, наверно, в следующий вагон с тем же объявлением.

Юэ Чжифэн машинально проверил свои баулы, ощупал карманы — четыре на пальто и три в брюках. Все было в порядке.

Поезд тронулся. После недолгой суматохи каждый нашел себе местечко, уселся. Кто включился в беседу, кто начал поклевывать носом, кто принялся лугзгать семечки или задымил. Вновь зазвучал «козлик» — все те же «Ты вернулась, птичка», «Майский хоровод» да «Первоцвет табака». Все так же продолжала она учить немецкий и все тем же шепотом распевала: химмель — небо, фогель — птица, блюмен — цветы.

Кто же она? Молода ли? Ребенок-то ее? Где служит? Научный работник? Поступила на вечерний? Выпускница «последней троицы»*? Откуда такое рвение к немецкому? Наверстывает упущенное время? Ни минутки лишней? Есть возможность встречаться с немцами? Или съездить в Германию? Может, уже побывала? Из Пекина она или местная? Часто приходится в поездах ездить? Он совсем уж было собрался засыпать ее вопросами...

«Послушайте музыку», — сказала она. Вроде бы обращаясь к нему. И в самом деле, после трех песен не нажала клавишу. За «Первоцветом табака» шел вальс «Весенние голоса» Иоганна Штрауса. И под эту мелодию весны летела вперед теплушка, будто хмелея, чуть покачиваясь и подрагивая.

Поезд подходил к отчому дому. Полустанок, минута стоянки. Не успеет отзвучать звонок к прибытию, как тут же снова дают звонок — отправление. Подхватив свои два баула, Юэ Чжифэн зашпешил к выходу. Ни платформы, ни ступенек у вагона. Просто приставили на мгновение к каждому вагону по примитивной деревянной лесенке. Юэ Чжифэн спустился — и глубоко вздохнул. Махнул той женщине в окошке, и она ответила на его прощальный знак. Расставаться было чуть грустно. Он еще не предъявил билета дежурному по станции, а поезд уже тронулся. На обшарпанных теплушках снаружи облупилась краска, в пятне станционного фонаря мелькали то белые, то рябые полосы. А впереди — локомотив, лишь теперь, покинув вагон, Юэ Чжифэн увидел его. Не так уж он и плох, этот чистенький, элегантный, современный тепловоз.

* Последние три выпуска перед «культурной революцией», которая прервала учебу в вузах и школах.

Зеленовато-голубых тонов. Пожалуй, в уаттовские времена тепловозов не было. Он летел вперед, увлекая за собой вереницу теплушек. Взошла луна. Станция со всех сторон была замечена снежком. Небо и снег отсвечивали одинаково синим цветом. Среди далеких могильников виднелись черные сосны, так никогда и не вырастающие в высокие деревья. Поддувал ветерок. Юэ Чжифэн шел по ухабистой земле детства. Повернул голову, чтобы кинуть последний взгляд на теплушку, на время вместившую в себя птичку, май, цветенье табака и волшебные весенние голоса Иоганна Штрауса. Ему казалось, что таких проникновенных песен он никогда раньше не слышал. Да, подумал он, и в заброшенных уголках жизнь сегодня повернулась. И так все это интересно, исполнено таких надежд, что никогда не сможет уйти из памяти. Какая же это великая ценность — мелодия весны, таинство жизни!

Грезы о море

Сошел с поезда — и прихватила уходящая гроза. После духоты, суеты, бестолковости купе на перроне, совершенно безлюдном, пахло свежестью и покоем. Утренний воздух был насыщен ароматом изумрудной хвои — чистотой и возвышенностью полнят человека такие ароматы. Из мягкого вагона громко, с гоготом и воплями, выскочили иностранцы. «Хэлло», — приветственно помахали они Мяо Кэяню, и он ответно кивнул им. Весьма нежную улыбку послала ему женщина из этой группы — некрасивая, но с хорошей фигурой и достаточно бодрая для такого путешествия. Больше никто не сошел с поезда и не сажился. А ведь этот перрон был просторен и вылизан до ошеломляющей чистоты. Квадратный домик сверкал красной черепицей — ну, прямо иллюстрация к «Сказкам» братьев Гримм. Да, вокзальчик у этого живописного приморского курорта имел нестандартный и весьма изысканный вид.

Стыдно даже сказать. Пятидесятидвухлетний Мяо Кэянь,

переводчик, специалист, полжизни изучавший и представлявший своему читателю иностранную литературу, никогда не бывал за границей. И никогда не видел моря. А всегда рвался к нему. В юности он любил песенку:

Грежу о море днями, ночами.
Ветер соленый несет мне тоску...

Австрийская, кажется? А была еще советская:

Буря, ветер, ураганы —
Ты не страшен, океан:
Молодые капитаны
Поведут наш караван.

В этих песнях складывалась его весна, его первая любовь — и сладкая, и горькая. Страждущую душу влекло к любви, к океанам, к полетам. А. В. С. D: с них начиналась его профессия, и они же вызвали ярлык «подозревается в шпионаже». Волна за волной. Пятьдесят два стукнуло — а еще не любил, еще не видел моря. Где уж там летать!.. И так чуть не поглотили волны. Где же ты, где, молодой капитан?

Автобус катил по асфальтовому полотну, омытому дождем, обрамленному высоченными густыми софорами. Здесь у этих деревьев весьма благородный и внушительный вид. Черные тучи цепляются за их вершины. «Сейчас увидим море», — предупредил санаторский водитель, в совершенстве познавший, чего жаждет душа новичка.

Море, море! Горьковское — перед бурей? Или андерсеновское — яркое, фееричное? Или моря Джека Лондона, Хемингуэя, которых он когда-то исступленно переводил? Или, может быть, древнее море арабов из «Шехерезады» Римского-Корсакова?

Нет, не таким оно оказалось. Перед ним открылось спокойное, безмятежное, благостное море. Пепельный шелк, слившийся с пепельным небом, и еще более пепельный, чистый, блестящий. Эмульсия, выплеснутая вдоль горизонта. Трепет шелка, дыханье эмульсии угадывались за дымкой, четкий

горизонт разрывался изломанными линиями, то возникающими, то исчезающими, то соединяющимися, то разбегающимися в разные стороны, и вспыхивали белопенные гребни и тут же опадали. Чу, что за шум? Не мерещится ли? Он словно услышал голос взлетающих брызг — среди бормотанья мотора и шуршанья колес. Безнадежно отставали мрачные тучи от стремительного автобуса. Ослепительное послеполуденное солнце одну за другой белило серые тучки.

Да что небо! Море преобразалось — тени облаков бежали по голубизне яшмы, по золотистым волнам. Над волнами — чайка, он даже видит ее белое брюшко. А там, где небо сомкнулось с водой, возникли две точки: черная, белая — белый парус над лодкой и лодка под белым парусом. «Вот мы и встретились, море! Полвека ты снилось мне, бури позади, и наконец я добрался до тебя, но оба мы седы — моя голова и твои волны в пене!»

Поздно. Поздно! Лучшие дни миновали. Какая там любовь к морю, какие там мечты о море, когда на тебе висят ярлыки «подозревается в шпионаже», «злостно нападает», когда тебя бросили в камеру, захлопнули железную дверь и лишь раз в шесть дней, вынося парашу, ты мог видеть синее небо, луч солнца, ощущать дыхание ветра, то леденящего, то опаляющего?! А сейчас он лежал на спине, омываемый теплым морем, запрокинув голову к небу, покачиваясь на волнах, шелковисто переливающихся, щуря глаза, — и был счастлив, сердце билось ритмично, расслабилось изнуренное тело, он отрешился от мира. Не хочет ли он вечно, за днями дни быть распластанным на бирюзовых волнах океана? Куда подевались его волнения? Его весенний задор? Жажда прыжка? Жаркие слезы скорби и радости?

Как-то неловко перед коллективом, перед товарищами, друзьями — они были так внимательны к нему. Реабилитация! Придет ли день, когда за такими тарабарскими словечками китаец полезет в словарь старого языка? И за всеми этими неуклюжими обрывками старинных речений, засорившими новую речь, — «подозревается в шпионаже», «злостно напа-

дает», «покушается на образцы»*? А все же спасибо этой ахинее, она словно заволокла дымкой всю нелепую сумятицу прошлого. И теперь руководство и товарищи хлопочут вокруг него: во-первых, надо хорошенько подлечиться, как следует отдохнуть, поправить здоровье, во-вторых — немедленно обзавестись семьей.

По первому пункту Мяо Кэянь в конце концов согласился что-нибудь предпринять. А вот по второму — сник, скис, скукожился. «В юности, — убеждали его коллеги, — ты мечтал о неведомом, потом на пути встали политические кампании, ну, а теперь-то, наконец, не пора ли пожить в стабильном сплочении с кем-нибудь?»**

Да, но всему своя пора цветения — персику, финику. Всему свой срок посадки — репе, капусте. Упустишь время — и все пойдет наперекосяк. Как у джинна, заточенного в сосуд, из «Тысячи и одной ночи»: он поначалу собирался своего спасителя вознаградить всем богатством мира, а через много лет, отчаявшись дожидаться свободы, решил, что уничтожит запоздавшего освободителя. Сделай он так, ему, конечно, не избежать нового заточения.

И пока коллеги радели, «подыскивая партнершу», ему все время вспоминалась эта история. Нет, ему, разумеется, и в голову не приходило воздавать злом за добро, уничтожать кого-то. Просто возникали какие-то ассоциации: опоздал, проскочил свою станцию, молодость не вернешь. Самое доброе вино, думал он, перестойт — уксусом станет. Все, все в прошлом — весна, любовь, грезы о море!

И потому, чуть услышит он о «партнерше», тут же дает деру. Самому тошно от своей слабости. Он вспоминал сказку Андерсена «Ночной колпак старого холостяка». Сказку Уайльда «Великан-эгоист», где сад без детей тщетно ждет

* Три из множества обвинительных ярлыков периода «культурной революции». Под «образцами» имелись в виду лозунги, изречения, мероприятия, личности, пропагандировавшиеся леваками во всекитайском масштабе для безоговорочного копирования.

** Здесь иронически обыгран один из сегодняшних политических призывов к «стабильному сплочению» в КНР.

весны. Да, его душа завалена зимними сугробами.

А все-таки море не отвернулось от него. Море, его новый знакомец, было старым другом. У них давно установился духовный контакт — и вот наконец свиделись. Оно не изменило, не устало ждать, не отвернулось от него, оно всегда радо ему, целует, обнимает, гладит, шлепнет, если надо, ударит, умоет и причешет, поддержит. То синее, то золотистое, то серо-серебристое. А взвихрится ураганный ветер — и побуреют, словно пшеничный солод в горячей воде, загустеют волны, вспенятся, гора за горой низвергаются с грохотом, рассыпаются плавно, исчезают бесследно. В этом упорстве скрывается мягкость, за беспощадностью проглядывает чувствительность.

Волны взбодрили его. Он быстро приоровился: затаив дыхание, нырял под волну, открывал глаза и следил, как она прокатывалась над головой, и слушал громыханье волны, летящей вперед, а потом вытягивал голову, хватал воздух, устремлялся навстречу новой волне, грозно накатывавшейся на него, и нырял под нее. Ничего не могли с ним поделаться волны, лишь раззадоривали, и он упивался морем. Одним махом одолел чуть не километр, далеко позади оставив оградительную сетку. «Какой акуле захочется третьесортного мяса с этакого скелета?» — любил шутить он. И вот, когда этот покоритель морей в радостном возбуждении, резвясь, рассекал волны, икру на левой ноге вдруг свела судорога. Было, было с ним такое, вспомнил он, когда «расследовали», на что он «злостно нападал», и заставляли его стоять на коленях. Он огляделся — за гороподобными волнами не видно берега. «Неужели час пробил?» — он конвульсивно дернулся, глотнув горько-соленую воду моря. И рассвирепел: какая несправедливость, нет, он не хочет этого. Из последних сил рванулся. Он же был неплохим пловцом в молодости, а то, чему выучили в мелком бассейне, подходит и для устрашающих волн безбрежного моря. Раз, другой дернул ногой — и понял: дотянет. Цзян Цин не сумела проглотить Мяо Кэяня, не поглотит его и море.

«Да, постарел я, постарел, и ничего тут не попишешь». Вот что отчетливо понял на сей раз Мяо Кэянь. Можно взбадривать себя фразочками о расцвете в старости, возврате весны, о том, что молодеешь и 52 превращаются в 25, но ничто не отменит железного закона старения клеток, отложения солей, дряблости мышц, усталости сердца, крошения зубов, появления морщин, ослабления памяти...

Да и курортники вокруг, обнаружил он, были большей частью одного с ним возраста, если не старше. Приближаются к полусотне, в волосах седина; спина колесом, под глазами мешки; в руках палки, на ушах слуховые аппараты. В кармашке таблетки нитроглицерина на случай спазма, или врач постоянно рядом, спать не пойдут, не спросив, есть ли кислород у кровати. Женщин мало, да и те в годах, вислобрюхие. Даже продавцам в универмаге, продмаге, официантам в кафе с китайской и западной кухней — всем за сорок. Они хорошо вышколены, предупредительны, терпеливы, с крепкими нервами — ни собственному начальнику, ни иностранцам не к чему придраться.

А партнеров по плаванию нет как нет. Чуть ветерок, чуть хмарь — спешат прочь от моря. Ну, когда тишь да гладь, голубое небо да белые облачка, словом, погодка хоть куда, когда в прозрачной воде видны юркие рыбешки и водоросли на дне и едва-едва — так мать дует на ранку ушибшегося малыша — колышется поверхность моря, — отдыхающие, слегка омочив ступни, самое большее колени, сидят метрах в двадцати от воды. Их больше влекли утренние и вечерние прогулки, сбор раковин при отливе: они степенно шествовали, и важные, замедленные движения их были так же неспешны, как зоревые облачка в небе.

Без спутника Мяо Кэянь не решался больше заплывать далеко и свою активность ограничил противоокаулей сеткой. Поплывает тридцать, от силы сорок минут — и загорает на песочке. Под сомкнутыми веками пляшут, соединяясь и преобразаясь, багровые пятна. Словно знаки на дисплее ЭВМ. Нет, недостоин он моря. Такого огромного, распахнувшего ему объятия, такого преданного, так горячо встретившего его.

При-ди, при-ди — зывали волны, накатываясь на песчаный берег; по-ша-лим, по-ша-лим — шептали они, откатываясь.

Я-лю-блю-те-бя-мо-ре! Так хотелось порой Мяо Кэяню крикнуть это в вольный, бескрайний бриз, пропахший солью и рыбой. Но он молчал. Вокруг были благовоспитанные, высоко нравственные люди. В таком «мелкобуржуазном» вопле они увидят еще симптом нервного расстройства.

Что ж, тем дольше можно гулять по дорожке вдоль моря. От западного до восточного холма (два крошечных полуостровка, два заливчика) медленным шагом он доходил за полчаса. Не мог без волнения смотреть на тамариск, растущий на берегу, круглый год продуваемый бризом. Оказывается, этот кустарник, привычный на северо-западе, в пустыне Гоби, прижился и у моря. В этой жизни, на этой земле в конечном счете все и разделено, и соединено. Берег, будто склон горы, карабкался вверх, на откосе лепились какие-то домишки. Приятно, должно быть, смотреть на море с крыши такого домика. А отсюда, с берега, взгляд не охватывал дальних пределов, не воспринимал ожидаемой бескрайности морских пространств.

Словно какими-то «рамками» ограничивала ему поле видимости вода (а можно сказать, и земля?), стиснутая горизонтом. Оказывается, и море заключено в рамки. Конечно, это обман зрения. Когда смотришь не в море, а вдоль берега, кажется, что взгляд уходит далеко-далеко на запад или на восток, достигает дальних пределов. А если смотреть в море, линии горизонта и берега сжимают поле зрения, к тому же ничего, кроме волн, не видно, взгляду не за что зацепиться, не с чем сравнить. Повернешься — линии горизонта и берега размыкаются, и чудится, будто предметы на берегу раздвигаются. Как различаются эти твои «наблюдения»! Попробуй отрезви себя напоминанием, что земля круглая и взгляд твой даже без каких бы то ни было преград не одолеет восьми километров, хоть в море, хоть вдоль берега,— все равно эти научные истины ни на йоту не изменят ненаучных, но реальных впечатлений.

По-настоящему бескрайно не море, а небо. Глядя с берега в небесный простор, он мечтал о полете! Поднимись в самолете на десять, на двадцать тысяч метров, все равно не достигнешь упоения ласточки. Ведь ласточку несут собственные крылья, собственные перья, собственное тельце, собственные усилия. Ласточка неотделима от неба, а в «Боинге-707» ты закупорен в кабине. Лишь с поверхности земли видно, как высоко взмыли люди в самолете.

С берега он следил за огромным веером тучек, раскинувшихся по небу и отражающихся в воде. Из комков ваты они превращались в золотистые ананасы. Потом на них появлялись розоватые, фиолетовые мазки, будто там, вдали, раскрываются клумбы, вспыхивают лиловым, пепельно-черным, коричневым, желтоватым, а то и всеми цветами радуги сразу. И вместе с этой игрой закатных красок небо и море то помрачнеют, то засверкают, когда заходящее солнце вырвется на миг из объятий туч и упадет в море утиным желтком, оранжевым апельсином, покраснеет, заалеет, из круглого станет ущербным и канет в бурный прилив.

Мяо Кэянь любил смотреть в небо. Над берегом оно не слепило. Так же как и солнце у берега не обжигало. Избыток жара и света поглощался завесой водяной пыли. Вглядываясь в небо, он ощущал чуть заметную, невыразимую грусть. Огромное, вечное небо — и ничтожная, брэнная жизнь. Вот и еще один день позади, ушел — и никогда не вернется.

В такой миг словно что-то толкало его изнутри — скинуть одежду, броситься в море, невзирая на ветер и волны, на холодную воду, на акул и медуз, невзирая на идущие сумерки и долгую ночь за ними. Туда, где небо смыкается с морем, куда направлен конус зоревых облаков, превратившихся из веера в пирамиду, — туда он и поплывет, только там настоящее море, настоящее небо, настоящая беспредельность. Там увидит он море, о котором мечтал в юности, достигнет те грезы о море, что полжизни утекали между пальцев. Звезды, солнце, облака, вольный ветер, морской дракон, сирены, белый кит, бегущая по волнам — все это там, все там!

«О моя страждущая душа, кипенье страстей, прихотливые фантазии и море детской мечты — где вы?»

Увы, он не бросался в море. Ох, эта чертова левая икра! Эти уплывшие 52, которым уже не дано превратиться в 25!

А может, так-то и лучше — не плавать? Один писатель из северной Европы изобразил фантастический островок ни с чем не сравнимой прелести. Молодые люди потянулись к нему сердцами и, когда лед сковал море, добрались до островка, оставив позади тяжкий целодневный переход на лыжах. И что же? Они не нашли там ничего, кроме сухих, угрюмых скал. До чего ярко показана в рассказе боль утраты обретенной мечты. Да ведь Мяо Кэянь и возраст мечтаний-то миновал!

И тогда он решил: пора уезжать. Пятьдесят лет грезил, а не вынес и пяти дней. Хотя тут настоящий рай. Рай в сравнении не только с мрачной, зловонной, крушащей надежды тюрьмой, но и с хлопотной, будничной, скудной повседневностью. Куда ни глянешь — ровные ряды деревьев: французский платан, китайский утун, их ни с чем не спутаешь. Белый китель регулировщика сверкает как-то по-особому, завихренье ветра не вздымает ни пылинки. Потому что тут нет пыли. Один лишь коричневый песок, словно промытый физиологическим раствором. Песчинка к песчинке, ни пятнышка грязи. По нескольку раз в день метут, поливают улицы. Наденешь свежую рубашку — и ходи несколько дней, воротничок и манжеты как новенькие.

Санаторный корпус, в котором он жил, утопал в цветах. Посмотришь вниз — наслаждаешься цветами, поднимешь голову — видишь море. С террасы паруса — как на ладони. А поздним вечером, когда все уже спали, он слушал отчетливый голос прибоя, как в детстве прислушивался к дыханию спящей матери. Исстари живет это море, исстари разносится его дыхание. Глубоко это море, и высок его прилив. Когда же ветер терзал его поверхность, до него доносились, словно шум битвы огромных армад, кличи, возгласы, рыки моря.

Да и кормят тут прекрасно. Не так уж часто жизнь дарует нам наслаждение пищей. Помнится, в камере было скучно

до исступления. Но кто-то притащил потрепанный словарь речений. И вот «преступники» начали забавляться гаданьем: не глядя, назовут страницу, строку, а потом листают — что выпадет, то и ждет тебя в жизни. Попадет такое речение, как «виновен — десять тысяч раз умри», «проклятие на десять тысяч лет», «убей одного, чтобы сто остереглись», — и повешишь голову, не без этого. Но зато когда прочитаешь «парчой сияет завтрашнее утро», «страдания иссякнут, радость грядет», «гора за горою, река за рекою, сбился с пути, как вдруг завиднелась деревня в цветах под сенью ив», — взрыв счастливого смеха. Как-то попало Мяо Кэяню речение «деликатесов горы, яств моря», и в этих четырех словах вкусил он надежду и радость! Прекрасное пиршество духа! (Каждый сам себе живописал смачность съеденного.) А сейчас, хотя деликатесы и не громоздятся горами, но яств морских полно. Рыба, крабы, креветки, медузы, водоросли и даже морская капуста... Масла давали по килограмму в месяц — вчетверо больше, чем горожанам. Впрочем, Мяо Кэянь съедал от силы на шесть цзяо в день, хотя отпускали все восемнадцать. В холле стоял цветной телевизор с двадцатидюймовым экраном. Можно было поиграть в пинг-понг, карты, бильярд, шахматы, облавные шашки*. В соседнем корпусе постоянно крутили новые зарубежные фильмы.

Так чего же ему еще не доставало? Чего тут вообще могло не доставать? Зови не зови, души соратников, до срока вырванных из жизни, не вернутся, как и его собственная душа, некогда державшая и отлетевшая навеки. Директор санатория забеспокоился, когда он заикнулся об отъезде. В чем-то недовольны нашей работой? Персонал нерадив? Питание не пришлось по вкусу? Москитная сетка не спасает от комарья? Возникли конфликты с другими отдыхающими? Директор горячо убеждал его остаться. В сопроводительном документе, с которым он приехал, значился месяц лечения.

Но у него уже словно что-то оборвалось внутри. Небо слиш-

* Китайская национальная игра в шашки белого и черного цветов на доске, разделенной 19 продольными и поперечными линиями.

ком просторно. Море слишком огромно. Соседи слишком стары. Плаванье слишком однообразно. Сил и отваги слишком мало. Язык слишком обложило. Речь слишком бедна. Холестерина слишком много. Сон слишком долгод. Кровать слишком мягка. Воздух слишком влажен. Нытья слишком много. Книги слишком толсты.

Словом, он твердо решил уехать. И едва решил — настроение сразу поднялось. Вечером похлебал кашицу из риса и фасоли, палочками старался побольше захватить капусты в сое с кунжутным маслом. Поев, отправился, как положено, вместе с соседями на прогулку вдоль моря и, как положено, любовался небом, облаками, морем, пеной, рыбацкими баркасами. Прощай — и прости! Так обращался он к морю. Как юнец, выросший и не желающий больше жить вместе с матерью, молит ее понять и простить. Уезжаю, говорит он.

Перед сном Мяо Кэянь вышел в сад проветриться. Возвращаясь, глянул с террасы на море, перегнувшись через балюстраду, — и увидел точеную лунную дорожку. Такого моря он еще не видывал. Ого, какая полная луна сегодня! Когда луна над морем засверкает, возможно ли не упиваться ею?! А как выглядит море при такой луне? И непутевый сын накинул одежду, натянул туфли, крадучись выбрался наружу — вторично проститься с матерью.

Как зябка! С огромной колдовской силой ночь и луна объяли все вокруг, преобразили, перекрасили, переиначили. Все не такое, как днем. Все утратило резкие очертания, расплылось, приблизилось одно к другому, соединилось, умиротворилось — тамариск, кипарисы, платаны, акации; башни, домики, разделки, душевые кабинки; берег моря, песчаная отмель, скалы, прогулочная дорожка, и само море, и небо, и пристань. Исчезли былые различия — скажем, между зданием и поверхностью земли, между сушей и морем, смягчились контрасты, сократились расстояния, улеглись волнения, и даже прибой накатывался на песок мягче, осторожнее, деликатнее, точно боялся потревожить, задеть кого-нибудь.

И поверх всего этого, довлея, владычествуя надо всем, раз-

лилась серебристая дорожка. Крошечная молочно-белая луна в ореоле сверкающей синевы высоко висела в небе, которое подпирали волнующиеся, как живые, убегающие вдаль волны. А справа и слева от посеребренных волн, куда уже не достигал луч луны, простерся неохватный глазом, чуть розовеющий мрак. Медленно шел Мяо Кэянь, и «серебристое поле» сопровождало его. Эта слиянность неба и моря, это неспешное движение серебристой дорожки брали за живое, и на глаза Мяо Кэяня навернулись слезы. До чего ж ловко подстроено! Как раз в ночь накануне отъезда море принарядилось, исполнилось нежности, изливало надежду, улыбалось и что-то шептало ему.

И он, наконец, крикнул: я-лю-блю-те-бя-мо-ре! Правда, глотка уже не та, что в молодости. И все же спугнул какую-то парочку, примостившуюся на камнях у его ног,— он и не обратил на них внимания. Совершенно не был готов к этому, и в голову не пришло, что потревожит молодых людей. Здесь ведь молодежи и в помине не было, не то что в городе, в парке или бассейне. А он, гляди-ка, спугнул парочку. Выскользнув из объятий парня, девушка вспрыгнула на камень. В темноте ее волосы казались бесцветными. Смутьившись, он отступил на шаг, другой и ретировался. Жаль, конечно, но вместе с тем он ощущал и радость, удовлетворение. Молодые люди лунной ночью на берегу да еще в объятиях друг у друга — это же здорово! Луне и морю так необходима весна юности. И весна нуждается в луне и море. Но кто же они? Ни среди отдыхающих, ни среди персонала таких молодых не было. Задним числом ему подумалось, что он уловил местный выговор. Выходит, они — крестьяне? Конечно, крестьяне! Коммунары! Местная молодежь, поднабравшаяся образования в городе? Может, ганьбу* из коммуны? Или все-таки простые крестьяне? Но в любом случае молодые. Значит, и крестьянам любо море, луна, «серебристое поле». Ну, совсем славно. Оказывается, это небо и эта земля, море и люди могут радовать сердце!

* Особый бюрократический слой работников госаппарата различного руководящего уровня, выродившийся в замкнутую касту.

А что там за звуки? Шлеп-шлеп... Не волна, не прибой, похоже, руки бьют по воде. Он посмотрел туда, откуда неслись звуки, и ему показалось, что возле камней, от которых он только что отошел, двое плывут по морю. Неужели та парочка окунулась в воду? И холод им нипочем? И тьмы не боятся? А куда дели одежду? Ого, гляди-ка, эти двое уплыли довольно далеко, они плывут к той светлой линии, где смыкаются вода и небо,— он сам не раз устремлялся к ней, но так и не отважился достичь.

Наверное, от этого блуждающего, покачивающегося, искрящегося, сплавившегося серебристого сияния у Мяо Кэяня зарыбило в глазах. Не ошибся ли он? Люди ли там? Могут ли так быстро плыть люди? Может, это рыбины? Русалки? Сирены?

Нет-нет, он не ошибся: люди, та влюбленная парочка, которую он только что спугнул. Какие у него могут быть сомнения? А если бы там был он сам, лет тридцать назад, и с любимой девушкой? Разве он испугался бы тьмы? Побоялся холода? Уклонился от этих волн, посверкивающих серебром? Нет, с ней бы он на одном дыхании покори́л все восемь тысяч метров. То есть восемь километров — тот предел для взгляда человека. О, любовь, весна юности, вольные волны, накатывающиеся одна за другой, бушующие, никогда не стареющие, никогда не прерывающиеся, никогда не впадающие в апатию. Вы навеки неотделимы от моря, луны, ветра, небосвода...

Он запел. Тая волнение, вернулся в санаторий. Перед тем как погрузиться в сон, вспомнил несколько чудных стихов: Пушкин, Лермонтов, Байрон, Шелли, Уитмен, да и свои собственные. Уснул, и легкая улыбка блуждала по его губам.

«Вот так так! Неужто наше море ничем не привлекло вас?»— спросил шофер, увозивший его. Он был психолог, этот шофер, большой знаток человеческой души. Он сразу раскусил Мяо Кэяня — сухарь, невзрачный старый холостяк. Но на сей раз промахнулся. Потому что Мяо Кэянь ответил:

«Нет, эти места прекрасны, поистине прекрасны!»

Шэнь Жун

Средний возраст
Повесть

谋
容

ШЭНЬ ЖУН

родилась в 1935 году в Ханькоу.

С пятнадцати лет начала свой трудовой путь.

Получив высшее образование

по специальности русская филология,

работала переводчицей,

музыкальным редактором, школьным учителем.

Во время «культурной революции»

четыре года жила и работала в деревне.

Печатается с 1975 года.

Автор двух романов, повестей и рассказов.

Ее повесть «Средний возраст»

в 1981 году удостоена первой премии

журнала «Вэнь бао»

за лучшие повести 1977—1980 годов.

Средний возраст

1

Ей казалось: высоко в небе зажглась звезда, казалось, будто ее качает в лодке по волнам. Лу Вэньтин, врач-окулист, лежала на спине на больничной койке, не зная, где она, что с ней. Крик застревал в горле, невидящий взор окидывал комнату. Перед глазами, переливаясь, плыли радужные круги; тело, словно подхваченное волной, то всплывая, то погружаясь в пучину, несло по течению.

Что это? Страшный сон или близкое дыхание смерти?

Она все помнит так же отчетливо, как если бы это происходило сейчас. Она пришла в клинику, вошла в операционную и, переодевшись в хирургический халат, подошла к умывальнику. Цзян Яфэнь, ее подруга, сегодня сама вызвалась ассистировать ей на операции. Это их последняя операция. Цзян с семьей уезжает в Канаду, разрешение на выезд уже получено.

Стоя рядом, они тщательно моют руки. Им, подругам со студенческой скамьи, которые двадцать лет тому назад, в пятидесятые годы, начинали свой путь с медицинского института, а потом вместе по распределению пришли работать в эту клинику, предстоит разлука. Мысль об этом камнем давит на сердце. Да, не очень-то подходящее настроение перед операцией. Чтобы как-то разрядить мучительную атмосферу перед разлукой, она, помнится, спросила:

«Яфэнь, а вы уже заказали билеты на самолет?»

Что же та ответила? Ничего, только глаза у нее покраснели.

Прошло довольно много времени, прежде чем Яфэнь заговорила:

«Вэньтин, у тебя сегодня три операции, не много ли?»

Она, кажется, промолчала в ответ, продолжая сосредоточенно тереть руки щеткой. Щетка, видно, была новая, с колючими, больно царапавшими пальцы щетинками. Она не видела ничего, кроме своих рук в белой мыльной пене, и, косясь на стенные

часы, педантично, как предписано по форме, в течение трех минут скребла руки от кистей до плеча. Повторив процедуру трижды, она через десять минут продезинфицировала их 75%-ным раствором спирта. Он, помнится, имел желтоватый оттенок, у нее до сих пор горят руки. Что это, аллергия? Вряд ли. Со времени ее первой практики в операционной прошло лет двадцать, ее руки успели задубеть и не реагировали на спирт. Что же случилось сегодня, отчего ей не поднять руки?

Она помнит, как села за операционный стол, ввела новокаин в глазное яблоко больного и уже собиралась приступить к операции, но тут Цзян Яфэнь тихо спросила ее:

«Вэньтин, а как воспаление легких у малыша?»

Что-тостряслось сегодня с Яфэнь! Разве она не знает, что хирург во время операции, отбросив всякие посторонние мысли, должен сосредоточить свое внимание только на больном глазе, что для него в этот момент не существует ни детей, ни семьи. Так время ли сейчас говорить о болезни маленькой Цзяцзя? Бедняжка Яфэнь слишком взволнована отъездом на чужбину, ей теперь просто не до операции!

Лу Вэньтин с некоторой досадой бросила:

«Сейчас меня интересует этот глаз и ничего больше».

Низко склонившись к больному, она маленькими ножницами вскрыла конъюнктиву глазного яблока, и операция началась.

Операции! Они шли без перерыва одна за другой. Но почему на сегодняшнее утро назначено сразу три? Удаление катаракты у заместителя министра Цзяо, исправление косоглазия у маленькой Ван Сяомань и пересадка роговицы у старика Чжана. С восьми утра до половины первого, четыре с половиной часа подряд, склонившись на высоком операционном стуле, при ярком электрическом освещении, она с напряженным вниманием оперировала больных. Вскрытие, швы, и так снова и снова. Наконец, сделан последний шов, на глаз больного наложена марлевая повязка, и можно распрямиться, но она чувствует, ноги онемели, поясницу ломит так, что она не в силах ступить ни шагу.

Цзян Яфэнь, быстро переодевшись, повернулась к ней:

«Вэньтин, пошли».

«Иди, я сейчас», — отозвалась она.

«Я подожду тебя. Сегодня я пришла сюда в последний раз».

При этих словах ее прекрасные выразительные глаза опять наполнились слезами. Что огорчило ее?

«Возвращайся поскорей домой, тебе надо собираться, твой доктор Лю, наверное, дождался тебя».

«У нас все собрано, — Цзян подняла голову и вдруг вскрикнула: — Ты... что с твоими ногами?»

«Затекли от долгого сидения. Сейчас пройдет. Вечером я загляну к тебе».

«Ну, хорошо, я пошла».

Яфэнь ушла. Лу Вэньтин прислонилась к стене и, держась за холодные белые плитки кафеля, привстала, постояла немного, потом, едва волоча ноги, поплелась в раздевалку.

Она помнит, как переделась, натянула на себя серый хлопчатобумажный костюм, помнит, как выходила из ворот больницы. Но в тот момент, когда она была у своего переулка и уже виднелся их дом, вдруг страшная, никогда прежде не испытанная усталость охватила ее с головы до ног, дорога поплыла перед глазами, переулок вытянулся, и дом отодвинулся так далеко, что она поняла, ей никогда не добраться до него.

Руки и ноги обмякли, словно ватные, тело стало чужим. Она утомленно закрыла глаза, иссохшие губы сжались. Пить, пить, где бы найти глоток воды?

Ее потрескавшиеся сухие губы слегка дрогнули.

2

— Товарищ Сунь, послушайте, доктор Лу что-то говорит! — тихо сказала Цзян Яфэнь, не отходившая все это время от постели больной.

Заведующий отделением Сунь Иминь в это время просматривал историю болезни Лу Вэньтин, диагноз «инфаркт миокарда» ошеломил его. Помрачнев, он покачал седой как лунь головой,

поправил на переносице темные очки. В голове невольно промелькнуло, что в его отделении это уже не первый случай сердечных заболеваний среди сорокалетних врачей. Лу Вэньтин всего сорок два года, она никогда не жаловалась на сердце, шутя говорила, что на ней воду возить можно. И вдруг — инфаркт? Как неожиданно и как страшно!

При словах Цзян Яфэнь заведующий отделением повернулся к больной, его высокая сутуловатая фигура наклонилась к белому, как полотно, лицу Лу Вэньтин с закрытыми глазами. Он увидел, как дрогнули ее сухие потрескавшиеся губы, услышал едва уловимое дыхание.

— Доктор Лу,— тихо позвал он.

Она не ответила. На ее осунувшемся лице с темными кругами под глазами не отразилось ничего.

Сунь Иминь взглянул на кислородную трубку, прикрепленную в углу стены, на электрокардиограф у изголовья кровати. Понаблюдав за работой сердца по показаниям экрана осциллографа и убедившись, что зубцы QRS в норме, он, несколько успокоившись, велел позвать мужа Лу Вэньтин.

Мужчина лет сорока на вид, коренастый, представительный, с лысой головой, поспешно вошел в палату. Это был Фу Цзяцзе, муж доктора Лу. Он провел бессонную ночь у постели жены, и Сунь Иминю удалось уговорить его немного отдохнуть на скамье в коридоре.

Сунь Иминь посторонился, уступая ему место у изголовья больной. Цзяцзе наклонился, с болью вглядываясь в такое родное, неузнаваемо изменившееся бледное лицо. Губы Лу снова слегка зашевелились. Этот беззвучный шепот не сумел бы разобрать никто, но Фу Цзяцзе понял.

— Воды, поскорей. Она хочет пить.

Цзян поспешно передала ему стоявший на столике у койки поильник. Вставив резиновую трубку в рот с иссохшимися губами, он стал по капле вливать ей в рот воду.

— Вэньтин, Вэньтин!— звал он, руки его дрожали, капли стекали по изможденному, без кровинки, лицу больной, и что-то в нем опять затрепетало.

Глаза, глаза, глаза...

Бесконечной чередой они проносятся перед мысленным взором Лу Вэньтин. Мужские и женские, взрослые и детские, ясные, как звездочки, и мутноватые с поволокой, разные, не похожие друг на друга, они изо всех углов неотступно глядят на нее, глядят...

Вот — глаза после кровоизлияния сетчатки.

Вот — с глаукомой.

Вот — с вывихом хрусталика после травмы.

А это... да ведь это же глаза Цзяцзе! Взволнованные и тревожные, усталые и заботливые, в них светятся боль и надежда, и ей не надо ни лампы, ни зеркала, чтобы увидеть их, почувствовать, что у него на сердце.

Глаза Цзяцзе, яркие и чистые, как золотой диск солнца. Сердце Цзяцзе, трепетное и горячее, сколько тепла оно принесло ей!

Это его голос, голос Цзяцзе! Задушевный, мягкий, но далекий-далекий, словно из другого мира:

Стал бы я теченьем

....

Только пусть любимая

Рыбкой серебристой

Вольно плещется в струе,

Трепетной и чистой*.

Что это? А-а, серебристо-белое пространство. По ледяной, прозрачной, как горный хрусталь, глади озера скользят красные, голубые, коричневые и белые фигуры. От взрывов звонкого молодого смеха ледовый дворец, кажется, вот-вот рухнет. Взявшись за руки, Лу Вэньтин и Фу Цзяцзе плывут в людском потоке. Кругом смеющиеся лица, но она видит только Цзяцзе. Крепко обнявшись, они несутся, кружатся, хохочут. Счастливая пора!

Старинный павильон пяти драконов — уединенный и полный

* Перевод стихов М. Замаховской.

очарования уголок в парке Бэйхай. Они стоят, прислонившись к белокаменной балюстраде; снег крупными хлопьями падает на лица, ветер треплет волосы. Им не холодно, руки их крепко переплетены, взоры устремлены вниз на открывающуюся сверху панораму зимнего парка.

Как молоды они были!

Она не ждала милости небесной, не мечтала о необыкновенном счастье. Лу росла сиротой, отец ушел из семьи, когда она была еще маленькой, и мать одна в тяготах и лишениях поставила ее на ноги. Из своего безрадостного детства она помнит лишь склоненную над огоньком лампы рано состарившуюся мать, которая ночи напролет шила, перешивала, штопала. Так шли годы.

Потом Лу Вэньтин поступила в медицинский институт, жила в общежитии, ела из общего котла. Чуть свет, она уже на ногах, повторяет иностранные слова, со звонком входит в аудиторию, крепко прижимая к себе книги и тетради, тщательно записывает все лекции. По вечерам после самостоятельных занятий она до глубокой ночи засиживалась в анатомическом кабинете. Свою юность она без остатка отдала учебе, одни дисциплины сменяли другие, одна сессия следовала за другой.

Казалось, любовь создана не для нее, а для таких, как ее однокашница Цзян Яфэнь, девушка с выразительными глазами, тоненькой фигуркой и живым характером. Цзян регулярно получала послания, не подлежащие огласке, и исчезала на свидания, а Лу томилась в одиночестве, ей не писали писем, не назначали свиданий. Казалось, о ней забыли.

Когда их распределили на работу в старейшую клинику с более чем вековой историей, им сразу объявили жесткий режим ординатуры: первые четыре года жить при больнице, в период стационара круглосуточно находиться в больнице и, кроме того, не обзаводиться семьями.

Цзян Яфэнь ворчала, устроили, мол, тут настоящий монастырь, а Лу Вэньтин всей душой приняла эти жесткие условия: двадцать четыре часа в больнице, да разве это много? Жаль, что в сутках не сорок восемь часов! Подумаешь — четыре года

не выходить замуж! Ведь знает же она среди знаменитых врачей и холостяков, и поздно вступивших в брак. И Лу Вэньтин, маленький доктор, с присущей ей энергией взялась за работу, упорно взбираясь на вершину медицинской науки.

Жизнь, однако, полна неожиданностей, и в ее тихое, четко размеренное существование вдруг ворвался Фу Цзяцзе.

Как это произошло? С чего началось? Она и сама толком не знала. Они познакомились, когда Фу Цзяцзе в связи с обострением болезни глаз положили к ним в больницу. Лу, своему лечащему врачу, он был обязан выздоровлением. Тогда и родилась их любовь. Она постепенно захватила обоих, обожгла своим пламенем, резко повернула их жизни.

Суrowsа зима на севере! Но какой теплой в тот год она была для Лу! Она прежде и не догадывалась, что на свете есть такое упоительное и пьянящее чувство, как любовь, и досадовала, что так поздно узнала его. В тот год она вступила в двадцать восьмую весну своей жизни, но сердце ее оставалось чистым. И со всей пылкостью нерастраченных чувств она встретила свою заповздалую любовь.

Стал бы темным лесом

...

Только пусть любимая

В чаще приютится

И в ветвях зеленых песни

Распевает птицей.

Фу Цзяцзе изучал металлургию. Он работал в научно-исследовательском институте, специализируясь по проблемам физики металлов. Говорили, что он разрабатывает новые материалы для «запусков». На вид же он был простоват, неуклюж. Цзян Яфэнь прозвала его «книгоедом». Он умел прекрасно читать стихи.

«Чьи это стихи?» — поинтересовалась как-то Лу.

«Венгерского поэта Петефи».

«Удивительно, как ты успеваешь и наукой заниматься, и стихи читать?»

«Наука требует воображения, фантазии, этим она сродни поэзии. А ты любишь стихи?»

«Я? Я плохо знаю поэзию, мало читала стихов.— И насмешливо добавила:— Видишь ли, нам, окулистам, приходится оперировать, а в хирургии все строго, без всяких фантазий...»

«Нет, нет, твоя работа — это прекраснейшая поэма!— воскликнул Фу.— Ты возвращаешь людям свет...»

С улыбкой он подошел к Лу, приблизил к ней свое лицо. И она, впервые ощутив совсем рядом горячее мужское дыхание, замерла в смятении, не зная, что будет дальше. Вдруг он привлек ее к себе и крепко сжал в объятиях.

Лу Вэньтин не ждала этого и со страхом глядела на эти смеющиеся глаза, на тянущиеся к ней раскрытые губы. Сердце бешено колотилось, когда она запрокинула голову назад, невольно отстраняясь от объятий, и зажмурилась, сдаваясь, бессильная перед этим натиском любви.

Парк Бэйхай в белоснежном уборе был словно нарочно создан для них. Кружились, падали снежинки, ложась на высокую белую пагоду, живописные островки, длинную галерею и тихое зеркало воды, скрывая под белой пеленой смущение счастливых влюбленных.

И вот неожиданно для всех, прожив положенные четыре года при больнице, Лу Вэньтин первой сыграла свадьбу. Казалось, Фу Цзяцзе послан ей судьбой. Он так настойчиво ухаживал за ней, так страстно желал ее, ради нее готов был на любые жертвы.

Стал бы старым замком

...

Только пусть любимая
Хмелем-повиликой
Заструится по руинам
Средь природы дикой.

Как хороша ты, жизнь! Как прекрасна любовь! Картины прошлого вспыхивают в сознании умирающей, вдыхая в нее волю к жизни. Глаза Лу Вэньтин приоткрываются.

После большой дозы болеутоляющих и успокаивающих средств Лу Вэньтин долго не приходила в сознание. Заведующий терапевтическим отделением сам осмотрел ее, внимательно прослушал сердце и легкие, посмотрел электрокардиограмму и запись в истории болезни. Он рекомендовал дежурному врачу продолжать капельное внутривенное вливание физиологического раствора, инъекции папаверина и морфия и строгий контроль за работой сердца во избежание обширного инфаркта и осложнений.

Выйдя из палаты, он обратился к Сунь Иминю:

— Доктор Лу очень слаба. А ведь я помню, когда она пришла к нам в больницу, у нее было отменное здоровье.

— Да-а! — протянул Сунь Иминь, вздохнув. — С тех пор прошло восемнадцать лет, она была тогда совсем девчонкой!

Уже в те далекие годы Сунь Иминь пользовался известностью среди окулистов. Его профессионализм и скрупулезность в работе вызывали у коллег смешанное чувство уважения и страха. Профессор Сунь был в самом расцвете сил, когда решил для себя, что важнейшим и первостепенным делом его жизни станет воспитание молодых врачей. Выпускникам медицинского института, направлявшимся к нему по распределению, он устраивал тесты, отборочные экзамены. Он хотел сделать глазное отделение своей больницы лучшим в стране и считал — начинать надо с отбора наиболее перспективных стационарных врачей.

Почему выбор пал на Лу Вэньтин? Вначале, помнится, Лу, двадцатичетырехлетняя выпускница медицинского института, не произвела на него особенного впечатления.

В то утро он проводил собеседование с дипломниками, распределенными к ним на работу, испытывая глубокое разочарование. В первой пятерке у одних, правда, были все данные для работы окулистами, но они пренебрежительно относились к этой специальности и не проявляли ни малейшего желания работать здесь; другие вроде бы соглашались заняться офталь-

мологией, но слишком упрощенно и несерьезно подходили к ней. Когда он достал шестое личное дело и прочел на нем фамилию Лу, он уже не ждал от новой соискательницы ничего хорошего. Надо менять методику преподавания в вузе, устало подумал он, со студенческой скамьи прививать правильное отношение к этой профессии.

Тут дверь слегка приоткрылась, и Сунь Иминь увидел худенькую стройную девушку в хлопчатобумажном костюме и матерчатых туфлях. Она была одета скромно, даже бедно: на локтях заплаты, полинявшие брюки протерлись на коленях. Она легкими шагами вошла в аудиторию. Сунь Иминь, просматривая лежащее перед ним дело, рассеянно взглянул на нее. На вид — совсем еще девочка с тоненькой фигуркой и миловидным лицом. Черные блестящие волосы были коротко подстрижены и аккуратно зачесаны за уши. Она села напротив Сунь Иминя, ничем не выдав своего волнения.

Сунь задал ей несколько вопросов по специальности, на которые она отвечала толково и кратко.

«Так вы хотите заняться глазными болезнями?»

Ему не терпелось закончить собеседование, опершись руками на стол, он устало потирал виски.

«Да, хочу. Я давно этим интересуюсь». Она говорила с легким южным акцентом.

Сунь оживился, сразу забыв о головной боли.

«Почему?» — вырвалось у Суня. Он тут же спохватился, что вопрос задан неудачно. Ее неторопливый ответ прозвучал неожиданно:

«Медицина глазных болезней у нас слишком отстала...»

«Допустим, в чем именно?» — с нетерпением перебил Сунь.

«Мне трудно сказать, во всяком случае, некоторые операции, которые уже делают за границей, нам еще недоступны. Например, использование лазерных лучей для затягивания ран на сетчатке глаза. Я думаю, нам тоже надо начинать».

«Да!» — мысленно Сунь уже поставил ей пятерку. — «Ну, что вы еще об этом думаете?»

«Еще... отслойка катаракты с помощью холода, это тоже

надо повсеместно внедрять. В общем, есть масса новых проблем, достойных изучения».

«Верно, вы хорошо отвечаете. Читаете ли вы иностранные книги по специальности?»

«С трудом, со словарем. Но я люблю иностранные языки». «Прекрасно».

Скупой на похвалы Сунь редко бывал так благосклонен к новичкам. Через несколько дней Лу Вэньтин и Цзян Яфэнь появились в глазном отделении. И если Цзян Сунь выбрал за здравомыслие и деловитость, то Лу Вэньтин привлекла его своей простотой, глубиной, проницательностью.

В первый год они делали наружные операции, совершенствовались в офтальмологии; на второй — перешли к внутриглазным операциям, изучали диоптрику; на третий — уже делали довольно сложные операции, вроде удаления катаракты. Как-то случилось событие, заставившее заведующего отделением Суня взглянуть на доктора Лу другими глазами.

Было весеннее утро. Сунь Иминь в сопровождении свиты врачей в белых халатах делал обход больных. Больные, каждый на своей койке, с нетерпением ожидали консультации знаменитого профессора. Им казалось, что стоит Суню прикоснуться к больному глазу, *как произойдет чудо.

Каждый раз, подходя к очередному больному, Сунь знакомился с историей болезни, выслушивал доклад лечащего врача о диагнозе и ходе болезни. Иногда он, раздвинув веки, осматривал больной глаз, а бывало, потрепав больного по плечу и подбодрив перед операцией, шел к следующей койке.

После обхода на конференции обычно обменивались мнениями, решали текущие вопросы. На них, как правило, выступали заведующие отделениями и главный врач. Ординаторы были лишь внимательными слушателями, они боялись взять слово, чтобы не оконфузиться перед этими авторитетами. Так было и на сей раз. Сунь перед уходом спросил: «Какие еще есть мнения?» И тут из угла комнаты раздался тихий женский голос:

«Четвертая палата, третья койка. Будьте добры, товарищ Сунь, не посмотрите ли еще раз снимок этого больного?»

Все повернулись к Лу Вэньтин, задавшей этот вопрос.

«Третья койка?»— переспросил он, обращаясь к главврачу больницы.

«Производственная травма»,— ответил тот.

«В амбулатории ему сделали снимок,— сказала Лу,— в заключении рентгенолога говорится об отсутствии инородных тел. Однако в больнице после заживления раны больной продолжал жаловаться на боли. Я сделала повторный снимок и считаю, что в глаз попало инородное тело. Прошу вас, товарищ Сунь, посмотрите».

Принесли рентгенограммы. Заведующий отделением, а за ним и все остальные врачи, присутствовавшие на совещании, по очереди посмотрели их.

Цзян Яфэнь широко открытыми глазами смотрела на подругу, недоумевая, почему та не обратилась к Суню после того, как все разойдутся. Ведь, если она ошиблась, пойдут пересуды, если окажется права, это все равно что уличить амбулаторного врача в недосмотре, а он-то не кто-нибудь, а главный врач!

«Вы правы, здесь есть инородное тело,— кивнул Сунь и, оглядев всех присутствующих, добавил:— Доктор Лу работает у нас недавно, но добросовестно и обстоятельно вникает во все. Это очень ценно».

Лу Вэньтин при этих словах опустила голову. Лицо вспыхнуло, она не ожидала, что он при всех похвалит ее. Сунь, видя ее смущение, улыбнулся, он понимал, каково начинающему врачу оспорить диагноз главврача, для этого требуется не только высокое чувство ответственности, но и немалое мужество.

В больнице, в отличие от других учреждений, царит строгая, хотя и не основанная ни на каких циркулярах, субординация. Так, молодые врачи подчиняются опытным пожилым врачам; ординаторы — главным врачам; авторитет профессоров, доцентов непререкаем и т. д. Поэтому история с молодым врачом Лу не могла пройти мимо Суня. «Перспективный врач»,— отметил он про себя.

Быстро пронеслись восемнадцать лет. Лу Вэньтин, Цзян Яфэнь стали ведущими врачами глазного отделения больницы.

Хотя в соответствии с принятой системой конкурсов на занимаемые должности им давно уже полагалось быть заведующими отделениями, они не стали даже старшими врачами. Все эти годы они проработали в должности стационарных врачей. Культурная революция помешала их продвижению по служебной лестнице, а после разгрома «банды четырех» благотворный весенний дождь еще не успел окропить их своими милостями.

— Как сухой стебелек,— невольно вырвалось у Суня при виде умирающей. Острое чувство жалости пронзило его. Он вышел из палаты и, схватив заведующего терапевтическим отделением за руку, спросил:— Посмотрите, она...

Тот вздохнул и, покачав головой, тихо произнес:

— Старина Сунь, главное, чтобы она скорее вышла из кризиса!

В мучительной тревоге, тяжело ступая, он снова повернул в палату к Лу. В эту минуту он казался глубоким стариком. В дверях он остановился, увидев прижавшуюся к подушке больной Цзян Яфэнь...

На дворе была глубокая осень, дни стали короче, ночи длиннее. Часов в пять уже смеркалось. За окном осенний ветер шуршал листьями платана, поднимая и кружа их в воздухе — один, второй, третий... сухие желтые листья. В их шелесте Сунь Иминю слышались жалобные скорбные стенания, рождавшие в душе тоску и безысходность. Эти двое, Лу и Цзян, были его опорой, самостоятельными, зрелыми специалистами, и вот одна заболела, другая уезжает за границу. На них держалась слава глазного отделения больницы. А теперь без них, уныло думал Сунь, оно оголится, как этот платан под окном, и придет в запустение.

5

Сквозь сон Лу Вэньтин кажется, будто она плетется по длинной дороге без конца и без края.

Это не извилистая горная тропа. Горные тропы хотя обрывисты и труднодоступны, зато выются веселой змейкой вверх, отчего захватывает дух и радостно замирает сердце. Но и не

тропинка в поле. Полевые тропки хотя узки и неудобны, зато с полей доносится сладкий аромат цветущего риса, от которого грудь наполнится счастьем. Нет, это песчаная отмель с рытвинами и ямами на каждом шагу, трясина, в которой вязнут ноги, безбрежная и бескрайняя пустошь. Куда ни бросишь взгляд — ни следа человека, лишь глухое безмолвие. Ох, как трудна эта дорога, как измотала она тебя!

Отдохни, полежи немного! На зыбкой песчаной отмели так тепло и мягко. Пусть земля обогреет твое закоченевшее тело, пусть весеннее солнце ласково коснется твоей измученной плоти. Она слышит вкрадчивый голос смерти, он зовет ее:

«Успокойся, доктор Лу!»

Ах, как хорошо отдохнуть, успокоиться навеки! Ни о чем не думать, ничего не знать. Не ведать тревог, боли, усталости.

Но нет, нельзя! Там, в конце этой длинной дороги, ее ждут больные. Она их видит словно наяву: вот один ворочается, не находя себе места от острой боли в глазах; другой, узнав о грозящей ему потере зрения, украдкой глотает слезы. Она видит, ясно видит встревоженные, с мольбой устремленные на нее глаза. Слышит отчаянные вопли больных:

«Доктор Лу! Доктор Лу!»

И, повинувшись этому зову свыше, этому неумолимому приказу, она поднимается на одеревеневших ногах, чтобы идти дальше по этой трудной дороге: из дома в больницу, из амбулатории в палату, из медпункта на обход, и так день за днем, месяц за месяцем, год за годом...

«Доктор Лу!»

Чей это крик? Кажется, голос директора больницы Чжао. Да, так и есть, он по телефону вызывает ее к себе. Поручив больных Цзян Яфэнь, она идет к Чжао.

Чтобы попасть из глазного отделения к директорскому кабинету, надо пройти через небольшой сад. Она скорыми шагами шла по дорожке, выложенной круглой галькой, не замечая, что сад утопает в нежных желтых и белых хризантемах, не ощущая тонкого аромата коричневого дерева, не задерживаясь взглядом на бабочках, которые парами кружили и порхали над

цветами. Ей хотелось поскорее закончить все дела у директора и вернуться в амбулаторию. Из семнадцати больных, назначенных к ней на это утро, она успела осмотреть только семерых. На следующий день ей предстоял обход больных, к тому же надо было решить вопрос с некоторыми амбулаторными больными.

Быстро дойдя до кабинета директора, она, помнится, без стука отворила дверь и вошла. Прямо напротив двери она увидела незнакомых мужчину и женщину и остановилась в нерешительности, но тут сидевший в кожаном кресле директор Чжао с улыбкой повернулся к ней и пригласил войти.

Она вошла и устроилась в кресле у окна.

Какая светлая комната! Чистая и просторная. Как в ней тихо! Это не амбулатория, где шарканье и топот ног, разговоры и детский плач сливаются в неумолчный гам. Здесь, в этой светлой опрятной комнате, она ощутила непривычность тишины. И люди, бывшие в ней, тоже были корректными, спокойными. У директора Чжао манеры ученого, прямая осанка, приветливое выражение лица, гладко зачесанные волосы, за очками в золотой оправе — смеющиеся глаза. На нем — белоснежная рубашка, тщательно отутюженный светло-серый френч, черные начищенные ботинки.

Мужчина на диване был высокого роста, с сединой на висках, в темных очках. Но Лу Вэньтин с первого взгляда поняла, что у него что-то с глазами. Он сидел, опершись боком на спинку дивана, машинально играя тростью, спокойный и сдержанный.

Женщина рядом с ним была лет пятидесяти на вид, лицо ее еще хранило следы былой красоты. Крашенные черные волосы были со вкусом уложены в пышную, но скромную, без претензии прическу. Обычного покроя костюм кадровых работников, сшитый, однако, из дорогого материала и по фигуре, сидел на ней очень изящно.

Лу помнит: стоило ей переступить порог кабинета, как глаза этой посетительницы впились в нее, неотступно следя и оценивая с головы до пят, и на лице ее ясно отразились сомнения, беспокойство, разочарование.

«Доктор Лу, разрешите представить вам заместителя министра товарища Цзяо Чэнсы и его супругу товарища Цинь Бо».

Заместитель министра? Министр? Да, за свою многолетнюю практику ей пришлось лечить и министров, и секретарей, и председателей. И, пропустив мимо ушей упоминание о должности, она по привычке занялась глазами. Что у него? Похоже, что потеря зрения.

«Доктор Лу, где у вас сегодня прием, в поликлинике или в больнице?»— спросил директор Чжао.

«Сегодня я принимаю в поликлинике, а завтра у меня обход в больнице».

«Вот и хорошо,— улыбнулся собеседник.— Дело в том, что товарищ Цзяо хочет у нас в больнице сделать операцию катаракты».

Сведения о больном, как сводка о противнике, настроили Лу Вэньтин на рабочий лад, и она приступила к расспросам.

«Болен один глаз?»

«Да, один».

«Который?»

«Левый».

«У вас полная потеря зрения?»

Больной утвердительно кивнул головой.

«Прошли ли вы обследование в больнице?»

Помнится, больной назвал какую-то больницу. Она поднялась, собираясь осмотреть глаз, но тут что-то помешало ей. Что же именно? А, вспомнила: сидевшая в стороне Цинь Бо учтиво остановила ее.

«Доктор Лу, присядьте, пожалуйста, не спешите. Осмотр, пожалуй, лучше произвести у вас в кабинете в темной комнате!— с улыбкой сказала она и, тряхнув головой, прибавила:— Поверите ли, директор Чжао, после того как у товарища Цзяо заболел глаз, я сама наполовину стала окулистом».

Да, именно так оно и было. Но что так долго задержало ее в кабинете у директора, о чем был разговор? Ах, да, Цинь Бо дотошно расспрашивала ее о чем-то!

«Доктор Лу, сколько лет вы работаете в больнице?»

Сколько лет? Сразу и не сосчитаешь!

«С 1961 года»,— ответила она, вспомнив год окончания института.

«Так, с 1961 года. Значит, уже восемнадцать лет»,— деловито подсчитала Цинь Бо, загибая пальцы.

К чему она это спросила? Она услышала, как директор Чжао из своего угла бросил реплику:

«У доктора Лу богатый клинический опыт, она прекрасный хирург».

Какая необходимость перед больным так расхваливать ее?

«Как вы себя чувствуете?— продолжала Цинь Бо.— У вас как будто не очень крепкое здоровье?»

К чему она клонит? Лу Вэньтин целыми днями лечит больных и мало обращает внимание на собственное здоровье, в поликлинике у нее даже нет карточки, и никто из начальства никогда прежде не интересовался ее здоровьем. Отчего вдруг эта гостья, которую она видит впервые в жизни, заинтересовалась ее самочувствием? Она помешкала с ответом, потом, помнится, сказала:

«Я вполне здорова».

Директор Чжао опять вставил со своего места:

«Доктор Лу, насколько я знаю, все эти годы несла полную нагрузку и всегда была полна сил и энергии».

Она промолчала, недоумевая, какое отношение ее здоровье, ее нагрузка имели к сидевшей напротив супруге заместителя министра? Она, помнится, нервничала, опасаясь, что Цзян Яфэнь не справится одна с больными.

Цинь Бо, не сводя с нее пристального взгляда, улыбаясь, задала ей еще один вопрос:

«Доктор Лу, а вы уверены, что операция катаракты пройдет успешно?»

Можно ли быть уверенной в чем-то до конца? Правда, в ее практике до сих пор все операции катаракты проходили успешно, но хоть раз в жизни случай берет свое, и нельзя полностью исключать всякие неожиданности, скажем, от наркоза повысится давление внутриглазной жидкости.

Лу не помнит, что она ответила, но зато хорошо помнит, как глаза Цинь Бо, округлившись, недоверчивые, не мигая, уставились на нее. Ей стало не по себе.

Ей приходилось сталкиваться с разными больными, и труднее всего всегда бывало с женами высокопоставленных работников, впрочем, ко многому она привыкла с годами. Пока она обдумывала, как бы поделикатнее ответить Цинь Бо, кажется, как раз в эту минуту Цзяо нетерпеливо заерзал на месте и повернулся к жене. Та сразу умолкла и отвела взгляд от Лу.

Чем же закончился этот неприятный разговор? Выпало из памяти. Ах, да, прибежала Цзян Яфэнь, просунула голову в дверь и позвала Лу Вэньтин.

«Доктор Лу,— поспешно сказала Цинь Бо,— если у вас дела, пожалуйста, займитесь ими».

Лу Вэньтин поднялась и покинула светлый просторный кабинет, где трудно дышалось и не хватало воздуха.

Ох! Как душно!

6

Незадолго до окончания рабочего дня директор Чжао Тяньхуэй поспешил в терапевтическое отделение.

— Старина Сунь, как же так, ведь доктор Лу всегда была здорова, отчего она вдруг свалилась?— говорил он, обращаясь к Сунь Иминю и на ходу просовывая руки в белый халат. Он был на восемь лет младше Сунь Иминя, но выглядел значительно моложе своих лет и говорил звонким голосом.

— Плохой сигнал!— покачал головой Чжао.— Среднее поколение врачей — главная опора нашей больницы, и на работе, и дома они тянут на себе тяжелую ношу, с каждым годом все больше подрывают свое здоровье. Если так пойдет и дальше и они один за другим начнут болеть, то нам с тобой, дружище, туго придется. Кстати, сколько человек в семье доктора Лу? Как с квартирой?

Слушая ответ, он смотрел на удрученное лицо Сунь Иминя.

— Что?— переспросил Чжао.— Четверо в одной комнате? Да-а, то-то и оно. А зарплата? Какая у нее зарплата? Пятьде-

сят шесть с половиной юаней? Ну, знаете, надо ли после этого удивляться, когда говорят, что бритвой в парикмахерской зарабатываешь больше, чем скальпелем в больнице. Ведь так оно на самом деле и есть! Да, но почему в прошлом году во время упорядочения зарплаты ей не повысили оклад?

— Едоков было много — каши мало, вот ей и не досталось, — холодно ответил Сунь.

— Да, все действительно не так просто! Я хочу попросить вас вместе с товарищами из партгруппы подготовить по главному отделению материалы обследования врачей среднего возраста, надо выяснить, каковы условия работы, заработная плата, семейное положение, квартирный вопрос. Эти сведения дайте мне!

— А что толку! Такие данные мы уже готовили к открытию научной конференции, да только дело ничуть не сдвинулось, — сдержанно отпарировал Сунь Иминь, стараясь не глядеть на собеседника.

— Старина Сунь, нечего распускать нюни. Эти материалы могут мне пригодиться. Я пойду с ними в горком партии, пойду в министерство здравоохранения, мелким бесом буду рассыпаться, буду бить во все колокола, но добьюсь, чтобы их прочли там, наверху. ЦК неоднократно давал указания беречь кадры, поддерживать интеллигенцию, улучшать положение научно-технических работников. Нельзя же, чтобы каждый раз, спустившись вниз, эти директивы становились пустым звуком! Позавчера, между прочим, на заседании горкома партии особое внимание было уделено кадрам среднего возраста. Так что я верю: можно, можно что-то сделать.

И, взяв под руку Сунь Иминя, он прошел в палату к Лу Вэньтин.

На ходу поздоровавшись с поднявшимся при его появлении Фу Цзяцзе, директор Чжао прошел прямо к кровати больной, наклонился, внимательно изучая ее лицо. Дежурный врач принесла ему историю болезни Лу. В эту минуту Чжао был не директором, а лечащим врачом.

Чжао Тяньхуэй был известным в стране кардиологом. Он

получил образование за границей и после освобождения вернулся на родину, горя желанием посвятить себя служению новой, народной республике. Он был охвачен политическим энтузиазмом и в середине пятидесятых годов считался образцовым красным специалистом. Вступил в партию, затем был назначен директором больницы. Эта должность сопряжена с таким количеством административных обязанностей и заседаний, что он, кроме участия в консилиумах, почти не занимался врачебной практикой. Что уж говорить о десятилетии, когда он жил в «хлеву» и подметал дворы, тогда ему тем более было не до повышения профессионального мастерства. В последние три года, когда сложилась особая историческая обстановка искоренения смуты и возвращения на правильный путь, он в качестве директора решал такое множество вопросов, что у него не оставалось ни времени, ни сил, чтобы стать за операционный стол.

Теперь, когда он пришел в палату лично осмотреть доктора Лу, врачи терапевтического отделения плотным кольцом окружили его, сосредоточенно следя за ходом постановки диагноза.

Правда, он, кажется, обманул их ожидания. Познакомившись с заключением лечащего врача и результатами электрокардиограммы, он ограничился рекомендацией продолжать пристальное наблюдение за изменениями работы сердца. Затем, обратившись к Сунь Иминю, он поинтересовался мужем Лу Вэньтин. Тот, взяв Фу Цзяцзе за руку, представил его директору Чжао. Чжао сразу бросился в глаза лысина Фу Цзяцзе, изборозженный морщинами лоб, и он в душе подивился, откуда эти признаки старости у человека средних лет. Видно, он совсем не следит за своим здоровьем, где уж ему было уберечь жену!

— Вы, наверно, измучились,— сказал Чжао, пожимая ему руку.— Доктору Лу нужен абсолютный покой, ей нельзя двигаться, нужен круглосуточный пост возле нее! Где вы работаете? Вам надо договориться с начальством и отпроситься на эти дни. Но один вы не справитесь, в семье есть кому подменить вас?

Фу отрицательно покачал головой:

— Нет, ребяташки еще маленькие.

— Может ли ваше отделение выделить кого-нибудь для дежурства?— спросил он Суня.

— Конечно, но только на день-два, не больше, у нас людей мало.

— Ну что ж, а там поживем — увидим!

Он опять бросил взгляд на осунувшееся, бледное лицо больной, и в душе опять шевельнулось недоумение: как, неужели это та самая, крепкая Лу Вэньтин, которую он хорошо знал, неужели это ее так скрутила болезнь?

Одна мысль не давала ему покоя: может быть, она переволновалась во время операции замминистра Цзяо? Нет, исключено. Доктор Лу не новичок, да и с новичками из-за стресса на операции не случаются инфаркты. Тем более что инфаркт миокарда происходит чаще всего внезапно и неспровоцированно.

Он все гнал от себя эту мысль, но нет, она возвращалась, раз и навсегда соединив в его сознании операцию замминистра Цзяо с болезнью доктора Лу, как неизбежно вытекающие одно из другого.

Он даже испытывал угрызения совести, тем сильнее коря себя за настойчивость, с какой рекомендовал доктора Лу, что с самого начала было ясно — она пришлась не по душе супруге заместителя министра.

«Скажите, директор Чжао, доктор Лу работает заместителем заведующего отделением?»— спросила тогда Цинь Бо после того, как Лу ушла.

«Нет».

«Так она главный врач?»

«Нет».

«Член партии?»

«Тоже нет».

«Ну, знаете ли, дорогой товарищ!— довольно бесцеремонно обрушилась на него Цинь Бо.— Мы все тут партийные, и я скажу напрямик, допустить рядового врача к операции министра — тут... тут какой-то недосмотр...»

Но в этот момент Цзяо Чэнсы раздраженно постучал палкой, прервав поток ее красноречия. Повернувшись к жене, он сердито сказал:

«Цинь Бо, что ты говоришь? Это компетенция больницы. В конце концов какая разница, кто будет оперировать?»

Но ее не так-то просто было унять.

«Я не одобряю твоей безразличной позиции. Это безответственное отношение к собственному зрению,— слова так и сыпались из нее,— здоровье — это капитал революции, мы отвечаем за него перед революцией, перед партией!»

Видя, что назревает ссора, Чжао Тяньхуэй попытался смягчить обстановку.

«Товарищ Цинь Бо,— с улыбкой начал он,— прошу вас довериться нам. Доктор Лу действительно рядовой врач, но она один из лучших хирургов глазного отделения. Можно с полной уверенностью поручить ей операцию катаракты. Пожалуйста, успокойтесь!»

«Я спокойна, и дело вовсе не в том, директор Чжао, что я обостряю вопрос. У нас в школе по перевоспитанию кадровых работников,— со вздохом продолжала она,— был такой случай. Одному старику, у которого тоже была катаракта, не разрешили поездку в Пекин, и ему пришлось оперироваться прямо в местной больнице. И что же вы думаете, во время операции у него выскочил хрусталик. Директор Чжао, мой муж при «банде четырех» семь лет просидел в тюрьме, он недавно приступил к работе, ему совершенно необходимо зрение».

«Товарищ Цинь Бо, все будет в порядке, в нашей больнице такие несчастные случаи чрезвычайно редки».

Но Цинь Бо не сдавалась и, подумав, спросила:

«А нельзя ли попросить заведующего глазным отделением Суня сделать эту операцию?»

Чжао отрицательно покачал головой:

«Нет, ему скоро семьдесят лет, зрение у него плохое, к тому же он много лет уже не оперировал. Теперь он занят научными исследованиями, курирует группу врачей среднего возраста, преподает. И, откровенно говоря, поручить операцию ему ку-

да менее надежно, чем доктору Лу».

«Ну, что же, в таком случае, может быть, доктору Го?»

«Доктору Го?»— с удивлением переспросил Чжан. Да, эта супруга заместителя министра даром времени не теряет.

«Го Жуцину»,— уточнила она.

Чжао Тяньхуэй замахал в ответ руками.

«Он уехал за границу».

«А когда вернется?»

«Он не вернется».

«Почему?»— удивилась Цинь Бо.

«Жена доктора Го — эмигрантка откуда-то из Юго-Восточной Азии. Ее отец, хозяин галантерейной лавки, недавно заболел и слег. Два месяца тому назад они подали заявление об отъезде за границу за получением наследства и, получив разрешение, уехали».

«Бросить должность врача, чтобы стать галантерейщиком, уму непостижимо»,— с горечью произнес Цзяо Чэнсы.

«У нас в кругу медработников это далеко не первый случай. В нашей больнице, например, человек десять уже получили разрешение на выезд и сейчас проходят оформление. И ведь это все основные кадры больницы, люди, которые хорошо справлялись с работой!»

«Они сами не знают, чего хотят!»— в сердцах воскликнула Цинь Бо.

«В начале пятидесятих годов,— заговорил Цзяо Чэнсы, обращаясь к директору Чжао,— вы, интеллигенты, преодолевая всевозможные препоны, рвались на родину, чтобы строить новый Китай. Кто бы мог подумать, что в семидесятые годы нами самими воспитанная интеллигенция ринется за границу. Да, слишком тяжелый урок».

«Разве допустимо, чтобы так продолжалось и дальше?»— проговорила Цинь Бо.— По-моему, следует усилить политико-воспитательную работу. Да, дорогой товарищ, теперь, после разгрома «банды четырех», роль интеллигенции у нас сильно повысилась, а по мере осуществления четырех модернизаций улучшаются и ее материальные условия».

«Да, мы как раз говорили об этом на заседании парткома,— сказал Чжао Тяньхуэй,— от имени парткома я дважды беседовал с доктором Го перед его отъездом, уговаривал остаться, но все впустую».

Цинь Бо готова была развернуть дискуссию, но муж жестом остановил ее.

«Директор Чжао, я обратился к вам вовсе не потому, что ищу какого-то именитого профессора. Я доверяю вашей больнице, я бы даже сказал, у меня к ней особые чувства. Несколько лет назад мне у вас удалили катаракту правого глаза, операция прошла успешно».

«Вот как! Кто же оперировал?»— заинтересовался Чжао.

«Увы, я до сих пор не знаю фамилии врача».

«Это легко сделать, достаточно заглянуть в историю болезни». И Чжао потянулся к телефонной трубке, с облегчением подумав, что наконец-то можно будет успокоить супругу Цзяо.

«Не ищите,— остановил его Цзяо,— вы ничего не найдете. Тогда вообще не вели историй болезни. Я только помню, это была женщина-врач и она говорила с южным акцентом».

«Да, по этим признакам найти ее нелегко,— согласился Чжао.— У нас работает много женщин, говорящих с южным акцентом. Кстати, доктор Лу — тоже южанка, так что давайте на ней и остановимся».

Когда Цинь Бо помогла мужу подняться, было уже решено: операцию поручают доктору Лу.

Кто знает, не из-за этой ли операции у Лу Вэньтин инфаркт миокарда? Вряд ли, покачал головой Чжао, отвергая эту версию. Она сделала сотни таких операций и не должна была особенно волноваться, к тому же он видел Лу Вэньтин накануне: спокойно и уверенно, в прекрасном настроении она приступила к операции. Почему тогда случилось это несчастье?

Чжао снова озабоченно посмотрел на Лу Вэньтин, отметив про себя, что даже теперь, на грани жизни и смерти, лицо ее дышит спокойствием, словно она не больна, а убаюкана тихими сладкими грезами.

Лу Вэньтин от природы была спокойной, уравновешенной. В глазном отделении никто из ее коллег и представить себе не мог, чтобы она рассердилась, вышла из себя.

Придирчивость и пренебрежение, какое высказала в разговоре с ней Цинь Бо, задела бы кого угодно на ее месте. А Лу Вэньтин?

Она просто не приняла разговор близко к сердцу, не сочтя предложение оперировать заместителя министра высокой честью для себя, а несносный тон его супруги оскорбительным для своего самолюбия. Вопрос об операции должен решать сам больной, рассуждала она, как он захочет, так и будет.

«Ну что, опять вызвали оперировать какую-то важную птицу?» — встретила ее вопросом Цзян Яфэнь.

«Ничего еще не решено».

«Пошли скорей, — тащила ее Цзян, — не знаю, что делать со стариком Чжаном, он решительно отказывается от операции, с ним просто невозможно разговаривать».

«То есть как отказывается? Приехал черт знает откуда, потратился на дорогу и теперь не хочет лечиться. Да и нам нужно выполнить свой долг».

«Поговори с ним сама!»

Когда они вошли в амбулаторию и прошли по коридору, где сидела длинная очередь больных, многие из них, вставая, кланялись врачам. Лу и Цзян, улыбаясь в ответ, кивали головами. Лу Вэньтин прошла к себе в кабинет и занялась пациентом, как вдруг чей-то зычный голос окликнул ее. Все взоры невольно обратились к его обладателю, высокому крепкому пожилому мужчине лет пятидесяти, ощупью двигавшемуся к кабинету врача. На нем были хлопчатобумажные штаны и халат, какие носят в деревнях, голова обмотана белым полотенцем. Высокая, на голову выше других, фигура его и звонкий голос сразу привлекли всеобщее внимание. Очередь расступилась, давая ему дорогу. Почти вслепую, не подозре-

вая, что так много глаз устремлено на него, вытянув перед собой руки, он на ощупь шел на голос Лу Вэньтин.

Лу поспешила ему навстречу, поддержала под руку.

«Садитесь, дедушка Чжан!»— пригласила она.

«Присаживайтесь и вы, доктор Лу. Мне надо с вами поговорить кой о чем».

«Давайте поговорим»,— сказала доктор Лу, помогая ему сесть на топчан.

«Так вот, доктор, какие дела. Прожил я здесь у вас немало дней, а теперь пораскинул мозгами и решил, мне бы лучше вернуться, а там вскорости я опять приеду...»

«Как же так, дедушка Чжан! Вы приехали издалека, столько денег на дорогу потратили...»

«То-то и оно!— не выдержав, вскричал он, хлопая себя по коленям.— Я и хочу на осенних работах поднакопить денег. Вы не смотрите, что я слепой, втемную тоже можно работать, и в бригаде ко мне относятся со вниманием. Доктор Лу, мне надобно вернуться, но прежде, думаю, обязательно скажу вам. Вы, поди, намучились с моими глазами».

Старик много лет страдал язвою роговицы, глубокие рубцы не поддавались лечению. Лу Вэньтин во время выездного лечебного осмотра у них в деревне предложила сделать пересадку роговицы. Поэтому он и приехал в город на операцию.

«Дедушка Чжан, сын потратил столько денег, послал вас лечиться, а вы хотите вернуться ни с чем! Вы и нас ставите в крайне неловкое положение».

«Доктор, а вы-то тут при чем?»

Лу Вэньтин, смеясь, потрепала его по плечу.

«Вылечим вам глаза, и вы сможете работать без чьей-либо помощи. Вы, с вашим здоровьем, еще лет двадцать потрудитесь!»

«Эх, скорей бы! Кабы не глаза, мне любая работа нипочем».

«Ну, значит, решено!»— улыбнулась Лу.

«Доктор Лу,— понизив голос, заговорил больной,— скажу откровенно, как родному человеку, больше всего беспокоюсь я из-за денег. В этот раз я на поездку да на лечение все свои сбе-

режения истратил; только так долго жить в Пекине мне не по карману!»

Лу Вэньтин удивленно развела руками, но тут же спохватилась.

«Дедушка Чжан, не беспокойтесь. Я уже справлялась по тетради предварительной записи, теперь ваша очередь. В ближайшие дни, как только поступит материал, мы вас оперируем. Договорились?»

Старик сдался, и Лу проводила его до дверей. В коридоре ей загородила дорогу хорошенькая девочка лет одиннадцати-двенадцати. Очень миловидная — круглолицая, чернобровая, с румянцем во всю щеку, прямым носом и живыми яркими глазами. Но прелестное лицо ее портило косоглазие. Она была одета в больничный халат и штаны.

«Доктор Лу!» — позвала она.

«Ван Сяомань, ты что здесь делаешь?» — спросила Лу, подходя к маленькой пациентке, поступившей к ней накануне.

«Я боюсь, я хочу домой! — заговорила Сяомань, размазывая по лицу слезы. — Я не хочу операции».

«Расскажи-ка тете, — сказала Лу, обняв девочку за плечи, — почему ты раздумала делать операцию?»

«Боюсь, больно».

«Вот глупышка! Не больно. Я сделаю тебе укол, и ты ничего не почувствуешь, поверь мне». Лу погладила ее по голове, наклонилась, пристально вглядываясь в личико девочки, словно изучая дивное произведение искусства, испорченное чьей-то неосторожной рукой.

«Видишь, — со вздохом сказала она, — вот этот глаз, Сяомань. Когда тетя исправит его, он будет такой же красивый, как тот, другой. А теперь марш в палату и будь умницей. У нас здесь нельзя бегать по коридорам».

Сяомань, слезы на глазах у нее высохли, убежала к себе, а Лу Вэньтин села, наконец, за свой стол и начала прием больных.

Больных в последние дни было особенно много, и ей надо было спешить, чтобы наверстать упущенное время. Она выбросила из головы замминистра Цзяо, его супругу Цинь Бо, забыла о

себе и без передышки одного за другим стала вызывать к себе больных, расспрашивая каждого о болезни, осматривая в темной комнате, выписывая рецепты, давая направление на госпитализацию...

«Доктор Лу, к телефону», — раздался голос медсестры.

«Подождите, пожалуйста, я недолго», — извинилась Лу перед больным и побежала к телефону.

«Цзяцзя заболела, вчера вечером у нее поднялась температура, — услышался голос воспитательницы из яслей. — Мы знаем, как вы заняты, потому вчера и не сообщили вам, сами повели ее к врачу, там ей сделали укол. Но температура у девочки все еще держится, она капризничает, зовет маму. Не могли бы вы зайти к ней?»

«Хорошо, приду», — Лу повесила трубку.

Но она не пошла в ясли. Столько больных, как их бросишь? Она опять потянулась к телефону, набрала номер учреждения Фу Цзяцзе, но там ей ответили, что он на собрании. Что ж, ничего не поделаешь.

«Кто звонил? Случилось что-нибудь?» — спросила Цзянь Яфэнь.

«Ничего», — последовал ответ.

Она не любила беспокоить просьбами других да и больничное начальство тоже. Ничего не поделаешь, придется закончить прием, а потом уж идти в ясли, решила она, возвращаясь к своему столу. В ушах у нее звучал детский плач, она слышала, как маленькая Цзяцзя зовет ее. Потом глаза больных целиком овладели ее вниманием, вытеснив из мыслей дочь, и, только отпустив последнего больного, она стремглав бросилась в ясли.

8

«Доктор Лу, что же вы так поздно?» — укоризненно сказала воспитательница.

Лу Вэньтин прошла в изолятор и увидела там на постели сжавшуюся в комочек фигурку дочери. Лицо ее горело, губы распухли, глаза были плотно закрыты, из груди вырывалось тяжелое дыхание.

«Цзяцзя, мама пришла», — перегнувшись через сетку кровати, сказала Лу.

Головка Цзяцзя зашевелилась на подушке.

«Ма-ма, домой», — прохрипела девочка.

«Домой, домой». Лу схватила малышку на руки и, укутав, понесла в детское отделение своей больницы.

«Воспаление легких, — сочувственно сказал врач. — Доктор Лу, за ней теперь нужен хороший уход».

Девочке сделали инъекцию, дали лекарство, и Лу вышла с ней из приемного покоя.

Полдень, в больнице наступило затишье. Прием амбулаторных больных закончен, у стационарных — тихий час. У врачей и сестер тоже перерыв, одни побежали домой, другие пристроились где-то в укромных уголках. Просторный больничный сад опустел, только неугомонные воробьи чирикают на платановых деревьях и беззаботными шумливыми стайками носятся по саду. Да, оказывается, и в городе среди каменных джунглей, загрязненного воздуха и уличного шума творения великой природы отвоевывают у людей красоту. Лу Вэньтин изумилась про себя, как, ежедневно проходя по этому саду, она не замечала птичьей суеты?

С ребенком на руках она в нерешительности остановилась посреди сада, не зная, куда идти: вернуться в ясли и оставить там Цзяцзя в таком состоянии в изоляторе было бы слишком жестоко, пойти домой... Но после обеда ей надо вернуться на работу. С кем же оставить Цзяцзя?

Скрепя сердце она повернула к яслям. Но тут вдруг Цзяцзя свесила головку с ее плеча и громко заплакала.

«Не хочу в ясли, не хочу...»

«Цзяцзя, послушай...»

«Нет, нет, домой!» — кричала она, брыкаясь.

«Хорошо, пошли домой». И Лу Вэньтин, крепко прижав к себе девочку, направилась к дому.

Дорога шла через оживленную торговую улицу. В глаза бросались огромные рекламные щиты модной одежды, витрины магазинов по обеим сторонам улицы ломились от изобилия това-

ров, на тротуарах крестьяне бойко торговали живой птицей и рыбой, семечками, арахисом и другой редкой для города снедью. Но взгляд Лу Вэньтин не задерживался ни на чем. С тех пор как в семье появилось двое детей, они из месяца в месяц едва сводили концы с концами, и она распрощалась с дорогими покупками. Тем более ей было не до них теперь, когда она, держа в объятиях больную дочь, спешила домой, с тревогой думая о вернувшемся из школы Юаньюане.

До дому она добралась уже около часа дня.

«Ма, чего так поздно?» — надув губы, пробурчал Юаньюань.

«Ты разве не видишь, сестренка заболела?» — едва взглянув на него, ответила Лу. Она быстро раздела девочку, уложила в постель и укрыла одеялом.

«Мама, дай мне скорей поесть, а то я опоздаю», — нетерпеливо сказал стоявший у стола Юаньюань.

«Не погоняй! Ты только и умеешь, что погонять!» — в сердцах крикнула Лу. Юаньюань засопел от незаслуженной обиды, на глаза навернулись слезы.

Но Лу было не до него, она побежала на кухню и стала разжигать угольные брикеты в остывшей за утро печи. Но сколько ни билась, огонь развести не смогла. Она приподняла крышку кастрюли, заглянула в буфет — нигде не осталось ни крошки.

Когда она возвратилась в комнату, мальчик стоял на прежнем месте, явно переживая случившееся. Ей стало совестно, мальчик не виноват, зачем было срывать на нем гнев?

В последние годы она все острее чувствовала, каким тяжким бременем навалилась на нее домашняя работа. В годы культурной революции цзаофани закрыли лабораторию Фу Цзяцзе, запретили тему его исследований. Фу стал членом бригады, которая работала с восьми до девяти часов утра и с двух до трех дня. Не зная, чем заняться в оставшееся время, он всю свою энергию и ум вложил в домашнее хозяйство. Три раза в день готовил еду, выучился вязать, шить зимние ватные брюки. Поэтому Лу Вэньтин была спокойна за свой тыл. Но после разгрома «банды четырех» научно-исследовательская работа ожилилась, Фу оказался в центре развернувшихся научных иссле-

дований, тема его была выделена в число наиболее перспективных. И теперь, когда он с головой ушел в работу, большая часть нагрузки по дому опять обрушилась на плечи Лу.

Ежедневно, в жару и холод, Лу металась между больницей и домом, скальпель в ее руках сменялся кухонным ножом, белый халат — голубым передником. Она боролась буквально за каждую секунду. На все про все — от растопки и до того, как она подаст готовый обед на стол, — должно уйти пятьдесят минут ее обеденного перерыва. Только тогда Юаньюань не опоздает в школу, Фу Цзяцзе успеет добраться на велосипеде до своего института, а она вовремя вернется в больницу и, накинув на себя белый халат, начнет прием амбулаторных больных.

Случись же такое, как сегодня, всей семье грозит голодная смерть! Подавив вздох, она вынула из ящика мелочь.

«Юаньюань, иди купи себе лепешку!»

Мальчик взял деньги, но с порога вернулся.

«Ма, а ты что будешь есть?»

«Я сыта».

«Нет, я и тебе куплю!»

Он вскоре вернулся и, доедая на ходу сухую холодную лепешку, пошел в школу.

Лу Вэньтин присела, устало обводя взглядом свою двенадцатиметровую комнату. Не избалованные жизнью, они с Фу Цзяцзе в своих требованиях к жизненным удобствам были весьма умеренны. После женитьбы поселились в этой комнатушке, где не было ни дивана, ни вместительного шкафа, словом, никакой новой мебели, не было даже новых постельных принадлежностей. Просто они соединили вместе скудное свое имущество и начали новую жизнь. Одежда и тюфяки у них были совсем тонкие, зато собрание книг — солидное. Тетушка Чэнь из их двора только разводила руками: «И что за жизнь у этой пары — сущие книжники!» А им жизнь казалась прекрасной. Комнатушка давала им покой, простая одежда и грубая пища спасали от холода и голода. Кусок хлеба, крыша над головой — много ли человеку надо.

Больше всего на свете они дорожили свободным временем.

Вечерами они располагались в разных углах их «бедной хижины», занимаясь каждый своим делом. Она, сидя за единственным столом с тремя ящичками, читала со словарем иностранные научные журналы по окулистике, беря на заметку нужные ей материалы.

Фу Цзяцзе устраивался на краю кровати за самодельным столом из стоявших один на другом ящичков и, обложенный со всех сторон справочниками и книгами, согнувшись в три погибели, углублялся в изучение проблемы прочности металлов. Озорные дворовые мальчишки, бывало, с любопытством подглядывали за молодоженами, но неизменно заставляли одну и ту же картину сосредоточенных вечерних чтений.

Они любили часы, когда можно было спокойно, без помех посидеть за письменным столом до глубокой ночи, считая, что такие дни прожиты интересно и плодотворно. И хотя никто не платил им за это сверхурочных, они, не щадя ни сил, ни здоровья, отработывали ежедневно по две смены. Летними вечерами, когда соседи наслаждались в саду прохладой, ни аромат зеленого чая или легкий ветерок, ни красота звездного неба, ни любая сенсация не могли выманить этих «буквоедов» из их душной каморки.

О, какие это были тихие дни, какие насыщенные вечера, какая счастливая пора жизни! Но едва начавшись, она вдруг оборвалась.

Две новые жизни одна за другой вошли в эту комнату. Юаньюань и Цзяцзя, плоть от плоти их, до боли любимые человечки! Нельзя сказать, чтобы появление детей не принесло семье радости, но беспокойств и горестей они тоже принесли немало. В комнату втиснули детскую кроватку, потом сменили ее односпальной кроватью, и стало так тесно — не повернуться. На веревке, как «флаги всех стран», были развешены пестрые пеленки, в углах навалены склянки, горшки, банки. Детский плач, смех, гвалт нарушили покой этой комнаты.

Всегда заботливый и внимательный, Фу Цзяцзе зеленым занавесом из полиэтилена отгородил письменный стол в надежде выкроить в этом кавардаке тихий уголок, где жена могла бы,

как и прежде, работать по вечерам. Легко сказать, работать!

Но, с другой стороны, если она, врач-окулист, не овладеет новыми достижениями зарубежной науки, она будет обречена топтаться на месте, не сможет обогатить свой опыт клинициста, внести в него новое. И она часто заставляла себя искать прибежище за занавесом, где, уединившись, просиживала до петухов.

Когда Юаньюань пошел в школу, то привилегия пользоваться этим драгоценным письменным столом с тремя ящиками перешла к нему. И только после того, как сын, закончив уроки, освободил стол, Лу Вэньтин могла располагаться за ним со своими блокнотами и медицинскими книгами. Что касается Фу Цзяцзе, его очередь всегда была последней.

Ох и трудная штука жизни!

Лу Вэньтин жевала холодную лепешку, поглядывая на стоящий на окне будильник: пять минут второго, десять, пятнадцать! Как быть? Пора на работу. Завтра операционный день, в амбулатории осталась еще куча нерешенных дел. С кем оставить Цзяцзя? Может, перезвонить мужу? Но поблизости нет телефона-автомата, к тому же его не так легко застать на месте. Нет, у него и так уже пропало десять лет, нельзя, чтобы он терял время, отпрашиваясь по домашним делам.

Кто знает, может, ошибка всей ее жизни в замужестве? Ведь сказано: брак — могила, в которой хоронят любовь. Как же она была наивна, полагая, будто истина эта действительна лишь для других, а с ней ничего подобного не случится. Спроси она тогда себя, по здравом размышлении и со всею строгостью, имеет ли право на супружество, выдержат ли ее плечи бремя семейной жизни, очень может статься, не взвалила бы на себя этот тяжкий крест, не свернула б на сложный тернистый путь!

Будильник, безжалостно тикая, показывал двадцать минут второго. Ну что ж, другого выхода нет — придется звать тетушку Чэнь, активистку с их улицы. Она всегда готова прийти на помощь и уже не раз выручала Лу Вэньтин. Одно лишь смущало Лу: аккуратно выполняя просьбы, она наотрез отказывалась от любой формы вознаграждения. Поэтому Лу и старалась не беспокоить ее. Но сегодня Лу, как говорится, снова загнана в ту-

пик, и придется опять обратиться к этой добросердечной женщине. Тетушка Чэнь охотно согласилась.

«Идите спокойно на работу, доктор Лу, я за ребенком пригляжу».

Лу положила на подушку любимую книжку и кубики Цзяцзя, наказала тетушке Чэнь вовремя дать ребенку лекарство и бегом помчалась в больницу.

Сядя за рабочий стол у себя в кабинете, она подумала, что надо попросить старшую медсестру выписать ей на сегодняшний прием немного талонов, чтобы пораньше вернуться домой. Но начался осмотр больных, и все вылетело у нее из головы.

Директор больницы Чжао позвонил предупредить, что заместитель министра Цзяо на следующий день ложится на операцию и просил доктора Лу подготовиться к ней.

Дважды раздавались звонки Цинь Бо, она интересовалась, на что надо обратить внимание перед операцией, что следует предпринять больному и членам его семьи, какая физическая и моральная подготовка требуется больному в предоперационный период.

Лу не знала, что и ответить. Проделав добрую сотню таких операций, она не могла припомнить, чтоб ей задавали подобные вопросы.

«Никакой особой подготовки не требуется».

«Гм... как это не требуется? Ах, дорогой товарищ, всякое дело порядок любит. Идеологическая подготовка, во всяком случае, никогда не помешает. Я думаю, мне лучше приехать и на месте с вами изучить вопрос».

Но Лу было не до нее.

«У меня сегодня еще много больных».

«Тогда поговорим завтра в больнице».

«Хорошо».

Закончив этот утомительный до головной боли разговор, она вернулась к рабочему столу, осмотрела всех больных. На улице было уже темно, когда она заторопилась домой. Проходя под окном своего дома, Лу услышала, как тетушка Чэнь напевала Цзяцзя песенку собственного сочинения:

Малышка, малышка,
Поскорее подрастай,
И премудрости науки постигай!

Цзяцзя заливалась веселым смехом. Лу почувствовала, как теплая волна подкатила к сердцу. Она вбежала в комнату, поблагодарила добрую женщину и, потрогав лоб дочери, облегченно вздохнула: жара не было.

Она сделала ребенку укол, и тут вернулся с работы Фу Цзяцзе, а следом за ним пришли гости — Цзян Яфэнь с мужем, доктором Лю Сюэяо.

«Пришла попрощаться с тобой», — сказала Яфэнь.

«Куда ты собралась?» — удивилась Лу.

«Мы подали заявление на выезд в Канаду, и вот паспорта уже на руках», — пряча глаза, ответила Яфэнь.

Лу знала, что отец Лю имел в Канаде врачебную практику и в письмах не раз звал их к себе. Но что они решатся на это, было для нее полной неожиданностью.

«Надолго едете? Когда вернетесь?»

«Надолго ли? Да, возможно, насовсем», — с напускной веселостью ответил Лю.

Лу изумленно посмотрела на подругу.

«Яфэнь, почему ты мне раньше не сказала?»

«Боялась, ты станешь отговаривать, боялась себя — вдруг не выдержу», — потупясь и не решаясь взглянуть Лу в глаза, сказала Яфэнь.

Между тем Лю извлекал из сумки свертки с продуктами и, вытащив под конец бутылку сухого вина, торжественно произнес:

«Вы еще не ужинали? Вот и чудесно. Имею честь пригласить вас на прощальный банкет».

9

Это был невеселый банкет, на котором они не столько пили вино, сколько глотали слезы, а вкус еды портила горечь прожитой жизни.

Цзяцзя заснула, Юаньюань пошел к соседям смотреть телепередачу. Лю поднял рюмку с вином и, явно огорченный, сказал:

«Человеческая жизнь... Человеческая жизнь, да, это штука действительно трудно прогнозируемая. Мой отец был врачом, имел глубокие познания в древней литературе. Он с детства привил мне страстное влечение к классической поэзии, и я мечтал стать литератором. Но судьба сулила мне другое, я унаследовал профессию отца. Как-то незаметно промелькнули тридцать лет. Отец всю свою жизнь был осмотрителен с людьми и свою житейскую мудрость формулировал так: «многословие — к беде». Увы, этого-то я у него и не перенял. Язык мой — враг мой, отсюда все мои беды, обожаю поговорить, покритиковать, ни одна политическая кампания не обошла меня стороной. В пятьдесят седьмом году, едва окончив институт, сразу угодил в правые, ну а во время культурной революции и говорить нечего — с меня семь шкур содрали. Я — китаец, и пусть у меня не бог весть какая высокая политическая сознательность, но я люблю свою родину и хочу видеть ее сильной, процветающей. Мне и самому не верится: я — в свои пятьдесят лет — вдруг решил навсегда покинуть родину».

«А разве нельзя не ехать?» — тихо спросила Лу.

«Да, почему нельзя иначе? Я сто раз задавал себе этот вопрос. — Рюмка, наполовину наполненная красным вином, дрогнула в его руке. — Читайте, больше половины жизни уже позади, много ли мне еще осталось? Почему же останкам моим суждено покоиться в чужой земле?»

Сидевшие за столом притихли, слушая прощальные излияния Лю. Он вдруг остановился, запрокинув голову, осушил рюмку и продолжал:

«Ругайте меня! Да, я недостойный сын своей нации!»

«Старина, не говори так, мы-то знаем, сколько лиха ты хлебнул за эти годы, — снова наполняя его рюмку, сказал Фу Цзяцзе. — Теперь мрак отступил, впереди свет, все будет хорошо!»

«Я верю в это, — подхватил Лю, — но когда он осветит мой очаг, когда озарит жизнь моей дочери? Боюсь, мне не дожить!»

«Оставим этот разговор! — Лу догадалась, что Лю уезжает

ради своей единственной дочери, и, стараясь переменить тему разговора, произнесла:— Я никогда не пила, но сегодня на прощание хочу провозгласить за тебя, Яфэнь, и за Лю этот тост!»

«Нет, сначала я должен выпить за тебя!— воскликнул Лю.— Ты опора нашей больницы, гордость китайской медицины!»

«Да ты захмелел!»— расхохоталась Лу.

«Нет, я не пьян».

«От всей души пью за тебя, Вэньтин! За нашу с тобой двадцатилетнюю дружбу, за будущих окулистов!»— сказала долго молчавшая Цзян Яфэнь.

«Да будет вам! При чем тут я?»— отмахнулась Лу Вэньтин.

«Как это при чем?— сердито переспросил Лю. Он, видно, и впрямь опьянел немного.— Да ты оглядись вокруг — ютишься в каморке, работаешь, как вол, не требуя ни славы, ни денег, всю душу вкладываешь в больных. Ты знаешь, на кого похожа? На дойную корову, что жует траву, а дает молоко. Это слова Лу Синя, не так ли, Фу Цзяцзе?»

То лишь молча кивнул в ответ.

«Многие живут и работают так же, не я одна»,— с улыбкой возразила Лу.

«Вот почему наша нация и является великой». С этими словами Лю осушил еще одну рюмку.

Яфэнь, глядя на заснувшую крепким сном Цзяцзе, с болью вымолвила:

«Да она скорее чужих пойдет лечить, чем своего собственного ребенка!»

Лю Сюэяо, наполнив рюмку, поднялся.

«Вот что значит жертвовать собой ради спасения Поднебесной»,— сказал он.

«Что с вами сегодня? Нарочно подтруниваете надо мной?— Лу, смеясь, кивнула в сторону Фу Цзяцзе.— Спросите-ка его, какая я ужасная эгоистка. Мужа загнала на кухню, дети заброшены, весь дом страдает из-за меня. По правде говоря, я скверная жена и скверная мать!»

«Ты прекрасный врач!»— возразил Лю.

Фу отпил немного вина и, поставив рюмку, включился в разговор:

«Здесь у меня претензии к вашей больнице. У врачей есть семьи, дети, почему же никто не думает о них, о том, что дети врачей тоже болеют?»

«Эх, старина Фу! — прервал его Лю Сюэюо. — Да на месте нашего директора Чжао я наградил бы тебя, Юаньюаня и Цзяцзя орденами! Это вы не щадите себя, вам в первую очередь больница обязана столь прекрасным врачом!»

«Не нужно мне ни орденов, ни похвал, — оборвал его Фу, — я просто хочу, чтобы в вашей больнице поняли, как трудно приходится семье, в которой есть врач. Я уж не говорю о профилактических лечебных обходах, о борьбе со стихийными бедствиями, когда она по первому сигналу бросает все и бежит. Но ведь и в обычные дни после операций она буквально валится с ног от усталости, не в силах приняться за домашние дела. Спрашивается, если я не пойду на кухню, то кто же пойдет? Благо еще во время культурной революции у меня было вдоволь времени подучиться кое-чему».

«Помнишь, Яфэнь дразнила тебя «книгоедом»? — Лю Сюэюо похлопал собеседника по плечу и со смехом продолжал: — А теперь смотри, ты не только специалист в новейшей отрасли техники, но маг и волшебник на кухне. Вот какое новое поколение коммунистов подрастает, кто же после этого станет оспаривать важные успехи культурной революции?»

У Фу Цзяцзе, который обычно воздерживался от вина, сегодня после нескольких рюмок лицо раскраснелось. Он потянул Лю за рукав.

«Да, что и говорить, культурная революция — это великая революция, перековавшая людей, из меня она, к примеру, сделала домашнего работника. Не верите, спросите Вэньтин, чем я только не занимался, чему не научился!»

Лу с грустью слушала эти горькие шутки, не смея прервать их: как иначе смягчить боль предстоящей разлуки. Фу с улыбкой смотрел на нее, и она в тон ему ответила:

«Все умеешь, а вот сапожничать не научился. Жаль, не при-

шлось бы тогда Юаньюаню плакать из-за новых кед!»

«Ну, уж это ты придираешься по мелочам! — серьезно возразил Лю Сюэяо. — Если б даже еще основательней взялись за перековку Фу, он и тогда не стал бы подбивать подметки!»

«Извини, если б не разгром «банды четырех», кто знает, может, и пришлось бы мне у нас в институте ставить набойки! Нет, подумать только, еще чуть-чуть, и камня на камне не оставили бы от науки, техники, знаний, всех бы нас вынудили латать да тачать сапоги!»

Сколько еще может продолжаться этот тягостный разговор? Они поговорили о разгроме «банды четырех», о том, что в науку пришла весна и что интеллигенцию из «девятой категории воюющих контрреволюционеров» перевели в «третье бедное ученое сословие», а когда задели больную струну — невзгоды среднего поколения, тучи опять сгустились.

«Старина Лю, — заговорил Фу Цзяцзе, — у тебя широкий круг знакомств, право, жаль, что ты уезжаешь. Говорят, домашним работникам сейчас хорошо платят, я и хотел попросить тебя разузнать, не надо ли кому...»

«Не беда, если и уеду. Ведь теперь выходит коммерческий вестник, там можно поместить объявление, ты попробуй».

«Прекрасно! — Фу сдвинул очки и со смешком продолжал: — Значит, так: специалист с высшим образованием, владеет двумя иностранными языками, прекрасно готовит, шьет, стирает, выполняет мужскую и женскую работу по дому. Здоровье крепкое, характер покладистый, аккуратен, усерден, честен. И, наконец, последнее — плата по договоренности. Ха-ха-ха!»

Цзян Яфэнь молча сидела в стороне, не прикасаясь ни к вину, ни к еде. Ей было не до смеха.

«Сейчас же прекратите этот разговор! — напустилась она на мужа. — Какой в нем смысл?»

«Смысл? — переспросил он. — Да ведь это общераспространенный социальный феномен! Средний возраст, средний возраст, теперь все в один голос твердят, что на нем держится государство, что, куда ни кинь, без него не обойтись! Специалистам среднего поколения поручают сложные операции в больни-

цах, разработку важнейших научных тем в научно-исследовательских институтах, трудные задания на заводах, профилирующие дисциплины в вузах...»

«Поменьше бы разводил дискуссий,— оборвала его Яфэнь.— Врач, а суешься не в свои дела!»

«А крылатое изречение Лу Ю — «ничтожный не смеет забывать о нуждах государства» — ты помнишь? Так вот я, простой врач, не смею забывать о государственных делах. И спрашиваю вас: все говорят, что средний возраст — оплот общества, но кто знает о его бедах? Работа на нем, дом на нем, да еще надо содержать родителей, поднимать на ноги детей. Люди среднего поколения стали опорой общества не только благодаря своему жизненному опыту и таланту, но и потому, что на их долю выпали тяжкие муки, они не щадили себя, и вместе с ними хлебнули горя и принесли себя в жертву и их жены и дети».

«Жаль,— тихо проронила Лу Вэньтин,— слишком немногие понимают это!»

«Дружище, тебе бы не врачом быть и не литератором, а социологом!» — воскликнул Фу Цзяцзе, подливая ему вина.

«Упаси бог, я бы тогда сразу угодил в правые! Ведь социология не существует без изучения теневых сторон общества».

«А общественные пороки,— подхватил Фу,— надо исправлять, без этого немислим социальный прогресс. Но это уже не правый, а левый уклон».

«Нет уж, к чертям, не желаю быть ни правым, ни левым, хотя меня в самом деле интересуют социальные проблемы.— Лю Сюэяо облокотился на край стола и, вертя в руках рюмку, разразился тирадой:— В старину говорили: «Человек средних лет отдыхает от всего», и это отразило состояние общества, когда нация была обречена на преждевременное угасание. Человек, едва достигнув сорока лет, понимал: для него все кончено и впереди его ничего не ждет. Теперь же, перефразируя старое изречение, можно сказать так: «Человек средних лет обременен тысячью дел». Верно, а? Сорока,- пятидесятилетние умудрены знаниями, опытом плюс жизнестойкостью, самое время загрузить их работой. Наша нация теперь помолодела, в ней с избыт-

ком молодой жизненной силы. Сейчас самое время среднему поколению развернуться, проявить себя».

«Здорово сказано»,— одобрительно отозвался Фу.

«Постой, не спеши соглашаться, я не кончил.— Лю Сюэяо схватил его за локоть и повысил голос:— Так вот, казалось бы, нашему поколению улыбнулось счастье вовремя появиться на свет. На самом деле, увы, так судьба его несчастлива».

«Ты никому не даешь рта раскрыть!»— снова вмешалась Цзян Яфэнь.

«Нет, я хочу послушать, в чем ему не повезло»,— остановил ее Фу Цзяцзе.

«Да хотя бы в том, что золотые годы вычеркнуты из-за Линь Бяо и «четверки»,— тяжело вздохнув, промолвил Лю.— Ты сам едва не стал безработным бродягой. Зато теперь, когда среднему поколению надо поднять на своих плечах «четыре модернизации», нельзя не почувствовать: многое ему уже не по зубам и по своим умственным, духовным и физическим возможностям оно не поспевает за временем. Так что в этих перегрузках и стрессах — тоже трагедия нашего поколения».

«Нет, на вас не угодишь!»— смеясь, сказала Цзян Яфэнь.— Не привлекали вас, вы брюзжали: мы, мол, непризнанные таланты, родились под несчастливой звездой! Теперь вы при деле и все равно волком воете, ноша вам, видите ли, не по плечу и жалованье слишком мало!»

«А ты разве не ворчишь?»— спросил Лю.

Она, потупясь, молчала.

Лу Вэньтин из этого разговора поняла одно — Лю решил непременно уехать не только ради дочери, но и ради самого себя.

Лю Сюэяо опять поднял рюмку:

«Так выпьем же за наше поколение!»

10

В тот вечер после ухода гостей, когда дети заснули, Лу Вэньтин почистила и перемыла на кухне кастрюли и посуду, а потом, вернувшись в комнату, застала мужа удрученно склонившимся к изголовью кровати и потиравшим лоб.

«Цзяцзе, о чем ты задумался?»— удивилась она, глядя на его угрюмое лицо.

«Ты не забыла то стихотворение Петефи?»— вместо ответа спросил он.

«Помню».

«Стал бы старым замком...»— прочитал он и, убрав руку со лба, продолжал:— Я и правда превратился в старую развалину, выгляжу стариком, старше своих лет. Смотри — облысел, поседел, на лбу такие глубокие морщины, что я их чувствую на ощупь. Я стал, как заброшенные руины...»

Ох, действительно, он очень постарел! С щемящим сердцем она прижалась к нему, нежно провела рукой по лбу.

«Это все я, я виновата, перевалила на тебя весь дом!»

Цзяцзе спрятал ее руку в своей руке.

«Нет, ты тут ни при чем».

«Я эгоистка, вся ушла в мою работу».

Она не могла оторвать глаз от его лба в бороздках глубоких морщин.

«Здесь мой дом, моя семья,— дрогнувшим голосом сказала она,— но мысли мои далеко отсюда. Что бы я ни делала, передо мной вечно глаза моих больных, сотни глаз преследуют меня, не дают мне покоя. В самом деле, денно и ночью я думаю о них, позабыв свой супружеский и материнский долг...»

«Что за вздор, я-то ведь знаю, каких жертв тебе это стоит». Его глаза наполнились слезами, и он замолчал.

«Ты постарел, я, я не хочу этого...»— с болью говорила Лу.

«Ничего... Только пусть любимая хмелем-повиликой застрется по руинам среди природы дикой»,— вполголоса прочел он их любимые строчки.

Тихо осенней ночью. Лу заснула на груди у мужа, слезинка застыла на ее черных ресницах. Фу Цзяцзе осторожно приподнял Вэньтин и уложил в постель.

«Я заснула?»

«Ты устала, спи».

«Нет, не устала».

«Металлы и те устают,— произнес он.— Сначала в них появ-

ляется микротрещина, затем она увеличивается, развиваясь вглубь, пока не вызовет излома...»

Усталость, разрушение металлов — тема исследований Цзяцзе, эти термины часто слетали у него с уст, проносясь мимо ее сознания, и лишь теперь они обрели глубоко поразивший ее зловещий смысл.

Господи, как страшна эта усталость, как опасны эти трещины! Ей чудится, в эту тихую ночь во всех уголках огромного мира слышатся звуки разрушения: рушатся опоры высоких мостов, лопаются шпалы под рельсами, превращаются в руины старые замки, обрываются струящиеся по ним лозы хмеля-повилики...

11

Глубокая ночь.

В палате полумрак, тускло светит голубой ночник на стене.

С больничной койки Лу Вэньтин видны два голубых огонька, они то взлетают вверх, как светлячки летней ночью, то мерцают, словно блуждающие огоньки в степи, но стоит всмотреться пристальнее, и они превращаются в льдинки глаз Цинь Бо.

Взгляд этих глаз суров. Только однажды в то утро, когда заместителя министра Цзяо поместили в клинику и она вызвала Лу Вэньтин для разговора, они светились мягко и приветливо.

«Доктор Лу, вот и вы, присаживайтесь, пожалуйста. Мужа повели на электрокардиограмму, он скоро вернется».

Когда Лу Вэньтин поднялась в тихий, стоящий особняком флигель, прошла по устланному темно-красным ковром коридору к палатам ответственных работников, сидевшая у двери на диване Цинь Бо, расплывшись в улыбке, быстро поднялась ей навстречу.

Она усадила ее на диван, сама устроилась у чайного столика, но тут же вскочила, вынула из тумбочки корзинку с мандаринами и, поставив перед Лу, сказала:

«Прошу, угощайтесь!»

«Не беспокойтесь!»

«Попробуйте! Это подарок с юга от старого боевого друга».

Лу пришлось взять протянутый ей желтый плод, но за внешней предупредительностью Цинь Бо она ощущала неприязнь к себе. Она помнит, как в первую их встречу эти глаза, как стальной клинок, вонзились в нее.

«Доктор Лу, так что же за болезнь катаракта? По мнению некоторых врачей, она не всегда поддается хирургическому вмешательству»,— мягким, почти заискивающим тоном начала расспросы Цинь Бо.

«Катаракта — это помутнение хрусталика глаза,— ответила Лу,— она протекает в разных формах, лучше всего делать операцию при «зрелой» катаракте...»

«Так-так,— поддакивала Цинь Бо,— ну, а если при «зрелой» катаракте не удалить хрусталика, а еще немного подождать, что тогда?»

«Нет, лучше не тянуть с операцией, потому что хрусталик сокращается, корковый слой разжижается, расслабляются связки. Операцию на этой стадии делать трудно, так как хрусталик легко отрывается».

«Ну да, ну да»,— кивала головой Цинь Бо.

Лу Вэньтин чувствовала, что собеседница не понимает и не старается понять ее. К чему тогда эти вопросы? Чтобы убить время? Знала бы она, что у Лу дел впереди по горло, обход только начался, надо ознакомиться с состоянием больных, решить множество проблем. Лу прямо-таки не сиделось на месте. Но как уйти, ведь и Цзяо тоже ее пациент, которого надо осмотреть перед операцией. Что же он так долго не возвращается?

«Говорят, за границей вставляют искусственные хрусталики,— сказала Цинь Бо.— Значит, после операции можно не пользоваться выпуклыми стеклами, не так ли?»

«Да, у нас в этой области тоже экспериментируют».

«А можно ли вставить искусственный хрусталик Цзяо Чэнсы?»

«Товарищ Цинь Бо,— улыбнулась Лу Вэньтин,— я же сказала, пока это только эксперимент. Стоит ли ставить опыты на вашем муже?»

«Ну, хорошо,— согласилась она и тут же, подумав, спросила:— Так давайте решим, какие меры следует предпринять перед его операцией?»

«Меры?»— недоуменно спросила Лу.

«Я хочу сказать, надо ли разработать план операции. В случае, если вдруг возникнет экстремальная ситуация, надо заранее решить, как действовать, чтобы избежать паники и не перепутать чего-то в суматохе».

Заметив озадаченный взгляд Лу, она поспешила добавить:

«Я читала в газетах о том, что создаются специальные бригады, где заранее обсуждают план операции».

«В этом нет необходимости,— не выдержав, улыбнулась Лу,— катаракта — несложная операция».

Цинь Бо склонила голову набок, всем своим видом вызвав неудовольствие, но тотчас спохватилась, улыбнулась.

«Эх, дорогой товарищ, не следует недооценивать врага, не так ли? В истории нашей партии уже бывало, когда подобные настроения приводили к поражению». И Цинь Бо терпеливо повела с ней идейно-воспитательную беседу, заставив Лу Взньтин вообразить все случаи, при которых операция катаракты протекает неблагоприятно.

«При сердечных заболеваниях и при гипертонии,— объяснила Лу,— могут быть противопоказания, кроме того, нельзя делать операцию при воспалении дыхательных путей, а то от кашля швы могут разойтись».

«Это-то меня и беспокоит!— воскликнула, всплеснув руками, Цинь Бо.— У Цзяо Чэнсы не очень здоровое сердце и высокое давление».

«Мы его обследуем перед операцией»,— успокоила ее Лу.

«У него и дыхательные пути воспалены».

«Он кашлял в последнее время?»

«Нет, последние дни нет, но где гарантия, что он не раскашляется на операции? А?»

Да, поняла Лу, от этой супруги заместителя министра так легко не отделаться. Непонятно, что у нее на уме и откуда взялись эти страхи?

Лу Вэньтин посмотрела на часы, скоро конец рабочего дня. Она сидела как на иголках, скользя взглядом по белым, мягко ниспадающим на пол легким занавескам на окнах, прислушиваясь к малейшим шорохам в коридоре. Вдалеке раздались чьи-то шаги, потом опять все стихло. Прошло еще некоторое время, прежде чем отворилась дверь, пропустив одетого в полосатую больничную пижаму Цзяо Чэнсы в сопровождении медсестры.

Он подошел поздороваться с доктором Лу и присел рядом.

«Почему ты так задержался?» — спросила Цинь Бо.

«Попал сюда — изволь слушать врачей, — устало произнес он, — анализ крови, рентген, электрокардиограмма — и все это мне сделали без очереди, очень любезно. В сущности, — сказал он, отпивая чай, который подала ему Цинь Бо, — из-за операции глаза, может быть, и не стоило так тревожить людей».

Лу взяла у сестры историю болезни, перелистала ее.

«Рентген грудной клетки — без патологии, ЭКГ — норма, давление крови — несколько повышено».

«Какое?» — тут же спросила Цинь Бо.

«Верхнее — 150, нижнее — 100, оперировать можно. Товарищ Цзяо, — обратилась она к больному, — кашляли ли вы в последнее время?»

«Нет, не кашлял».

«А ты можешь поручиться, что на операционном столе ни разу не кашлянешь?»

«Ну, это...» — замаялся Цзяо Чэнсы, озадаченный ее вопросом.

«Отнесись к этому серьезно, — строго сказала Цинь Бо. — Доктор Лу только что сказала мне, что если на операционном столе у тебя начнется приступ кашля, хрусталик может выскочить».

«Скажите, доктор, как я могу поручиться?» — обратился он к Лу.

«Ничего, все не так страшно. Товарищ Цзяо, вы курите? Перед операцией лучше не курить».

«Ну, разумеется, я брошу курить».

«И все-таки?— не унималась Цинь Бо.— Вдруг ты закашляешься? Как тогда быть?»

«Это поправимо, товарищ Цинь Бо. В случае, если возникнет такая ситуация, мы тут же наложим швы, а когда приступ кашля пройдет, снимем швы и продолжим операцию».

«Верно,— сказал Цзяо Чэнсы,— когда мне прошлый раз оперировали правый глаз, тоже после разреза пришлось наложить швы, а потом их снять. Правда, тогда это произошло не из-за кашля».

«А из-за чего?»— удивилась Лу.

Цзяо, поставив на стол стакан, взялся было за портсигар, но, спохватившись, положил его обратно.

«В то время,— со вздохом начал он,— меня заклеямили как ренегата. Я ослеп на правый глаз и лег на операцию. Но едва хирург взялся за дело, ворвались цзаофани, требуя немедленно прекратить операцию и не возвращать зрение ренегату. Кровь бросилась мне в голову, я чуть не потерял сознание. Спасибо врачу, она не растерялась, тут же зашила разрез, потом выставила цзаофаней за дверь и спокойно довела операцию до конца».

«Как?!— невольно вырвалось у Лу.— А в какой больнице вас оперировали?»

«Здесь, у вас».

Возможно ли такое поразительное совпадение? Она внимательней взгляделась в Цзяо Чэнсы, силясь припомнить, видела ли она его прежде. Нет, совсем незнакомое лицо.

Но десять лет тому назад с ней произошел аналогичный случай. Она делала операцию катаракты одному «ренегату», и тогда в хирургическое отделение тоже ворвались цзаофани... И дальше все было именно так, как рассказывал Цзяо. Да-а... А фамилия того больного?.. Верно, тоже Цзяо. Значит, это он.

А вскоре в больнице появилась дацзыбао: «Скальпель Лу Вэньтин на службе у ренегата Цзяо Чэнсы — это подлая измена делу пролетариата».

Теперь его, конечно, не узнать. Десять лет тому назад

Цзяо пришел к ней на прием в разодранном ватном халате, изможденный, подавленный. Лу Вэньтин предложила ему лечь на операцию, его поставили на очередь и в назначенное время он явился.

Лу Вэньтин начала операцию, как вдруг в коридоре послышались шум и перебранка.

Медсестра кричала:

«Это операционная, сюда нельзя входить!»

В ответ раздались выкрики:

«Что еще за операционная? Он же махровый ренегат! Начи-
най бунтовать, тут оперируют ренегата! Давай!»

«Не дадим вонючим интеллигентам раскрывать двери перед
ренегатами!»

«Да входи, ребята, чего там!»

До Цзяо Чэнсы долетало каждое слово.

«Что ж,— сказал он срывающимся голосом,— слепой так
слепой, не надо оперировать, доктор!»

«Не двигаться!»— приказала Лу, молниеносно наложив ли-
гатуру.

Трое верзил ворвались в операционную, другие, оробев, оста-
новились в дверях. Сидевшая у операционного стола Лу Вэнь-
тин даже не шелохнулась при их появлении.

По рассказу Цзяо Чэнсы выходило, что врач выгнала вон
цзаофаней. Это было не совсем точно. Браниться, выставять
кого-то вон — не в характере Лу Вэньтин. В тот момент она
предстала перед цзаофанями в белом хирургическом халате
и резиновых перчатках, зеленых пластиковых бахилах на но-
гах, голубой шапочке, с плотной марлевой повязкой на лице,
так что виднелись одни глаза. И, может быть, оттого, что они
впервые очутились в этой незнакомой обстановке и ощутили
ее непривычную суровую атмосферу, а возможно, вообще
впервые в жизни увидели операционный стол и на нем в прорези
белоснежной простыни окровавленный глаз, они струсили. Док-
тор Лу, сидя на высоком табурете, коротко бросила сквозь
марлевую повязку:

«Выйдите отсюда!»

Потоптавшись у входа и чувствуя, что здесь и в самом деле не место для бунта, они повернулись и вышли.

Доктор Лу сняла швы и продолжила операцию.

«Не стоит оперировать!— сказал Цзяо.— Какой смысл в лечении, когда при следующей чистке я могу опять потерять зрение. Да и вы, доктор, играете с огнем!»

«Не разговаривать!»— строго сказала Лу, а руки ее между тем так и летали, привычно делая свое дело. Закончив операцию и накладывая повязку, она коротко обронила:

«Я — врач».

Вот так, в необычных обстоятельствах, доктор Лу сделала Цзяо Чэнсы операцию катаракты правого глаза.

В тот год группа бунтарей из учреждения Цзяо Чэнсы вывесила в больнице на шумевшую дацзыбао против доктора Лу. Сама доктор Лу, однако, не приняла ее близко к сердцу. Что ж, к прежним ярлыкам, которые на нее наклеили: «белый специалист», «ревизионистское отродье», добавился еще один — «покровитель ренегата». И дацзыбао, и инцидент, случившийся во время операции, вскоре вылетели у нее из головы, и, не упомяни об этом сам Цзяо Чэнсы, она бы так и не вспомнила о них.

«Вот таких врачей, доктор Лу, я уважаю, они действительно лечат больных и спасают им жизни!— с пафосом воскликнула Цинь Бо.— Жаль, тогда не велась история болезни и мы не знаем ее фамилии. Если б сейчас оперировала она, мы могли бы быть абсолютно спокойны. Мы вчера так и сказали директору Чжао».

Заметив замешательство на лице Лу Вэньтин, она быстро добавила:

«Нет, нет, доктор Лу, вы не должны обижаться. Директор Чжао вполне доверяет вам, и мы, разумеется, тоже доверяем. Надеюсь, вы не обманете надежд, которые возлагает на вас руководство, и будете учиться у врача, что в прошлый раз оперировал заместителя министра Цзяо. Мы, в свою очередь, тоже будем учиться у него. Не так ли, а?»

Лу сидела потупившись и в ответ молча кивнула.

«Вы еще молоды! — покровительственно сказала Цинь Бо. — Говорят, вы не член партии, это верно? Надо стремиться к этому, дорогой товарищ!»

«У меня социальное происхождение плохое», — откровенно ответила Лу.

«Э-э... дело не в этом! Семью не выбирают, а жизненный путь избрать можно, — затараторила Цинь Бо. — Партия в этом вопросе всегда требовала, чтобы, учитывая социальное происхождение, главным все-таки оставалось то, как человек зарекомендовал себя. И если вы чистосердечно отмежевались от семьи, делаете полезное для народа дело, двери партии открыты перед вами».

Лу промолчала в ответ, задернула на окне занавеску и, вынув офтальмоскоп, осмотрела глазное дно больного.

«Товарищ Цзяо, — сказала она, — если обстоятельства позволяют вам, назначим операцию на послезавтра».

«Что ж, чем раньше, тем лучше», — с готовностью согласился Цзяо.

Когда Лу Вэньтин освободилась, рабочий день уже закончился. В коридоре ее окликнула Цинь Бо.

«Доктор Лу, вы домой?»

«Да!»

«Машина товарища Цзяо довезет вас!»

«Спасибо, не надо».

И, махнув рукой, она скорыми шагами удалилась.

12

Время клонится к полуночи, в палате тихо — ни шороха, ни звука. В бледном свете голубого ночника на стене видно, как из капельницы раствор медленно, по капле вливается в просвечивающую сквозь кожу вену. В мертвой тишине ночи только это и убеждает людей: доктор Лу еще жива.

Фу Цзяцзе в оцепенении сидит у изголовья кровати, не сводя воспаленных глаз с жены.

За последние двадцать тревожных часов он впервые остался наедине с ней. Нет, точнее — за все десять с лишним лет, что

они прожили вместе, он впервые так долго сидит рядом с ней, глядит на нее.

Помнится, как-то раз в медовый месяц их любви он долго, не отрываясь смотрел на нее. Почувствовав его взгляд, она обернулась.

«Ты что уставился на меня?»

И он смущенно отвел глаза...

Теперь она не в состоянии повернуться, произнести хоть слово. Ее беспомощное тело распростерто перед ним, и сколько бы его взгляд ни покоился на ее лице, она не помешает ему.

Только сейчас он заметил, как она постарела! В прекрасные черные, как смоль, волосы вплелись серебряные нити, дрябло повисли прежде налитые и упругие мышцы, гладкий, как атлас, лоб рассекли морщины. А как скорбно обозначились уголки губ! Увы! Ее жизнь догорала, как фитиль в лампе, едва испуская последний неровный свет и тепло. Ему просто не верилось, что его жена, крепкая, здоровая женщина, за сутки так обессилела.

Он хорошо знал, какая она была сильная. Тоненькая, хрупкая — вроде, в чем душа держится. Но это только с виду. На свои хрупкие плечи она безропотно принимала и внезапные удары судьбы, и повседневное ее бремя. Принимала без жалоб, без робости, не падая духом.

«Ты очень стойкая женщина», — часто говорил ей Фу Цзяцзе.

«Я? Да нет, я совсем слабая! Ни капли решимости».

Свое последнее «волевое решение», как назвал его Фу Цзяцзе, о том, что он переберется к себе в научно-исследовательский институт, Лу приняла перед самой болезнью.

В тот вечер Цзяцзя чувствовала себя значительно лучше, и после того, как Юаньюань закончил уроки, детей уложили спать. В комнате ненадолго воцарилась тишина.

В окно глядела осень, порывы ветра доносили ее холодное дыхание. В яслях предупредили родителей — надо позаботиться о теплой одежде для малышей. Лу Вэньтин вынула прошлогоднюю ватную стеганку Цзяцзя, распоролла, расширила ее, удлинила рукава. Потом расстелила ее на письменном столе,

чтобы сделать новую ватную подстежку.

Фу достал с полки свою неоконченную рукопись, помялся у стола, потом, скрючившись, присел на кровати.

«Мне недолго еще, скоро кончу»,— не поворачиваясь, сказала Лу, быстрее заработав иглой.

Когда Лу освободила стол, Фу Цзяцзе сказал:

«Нам бы еще комнатку, хотя бы пяти-, шестиметровую, только чтоб стол уместился, и все будет в порядке».

Лу шила и ничего не ответила. Через некоторое время, сложив неоконченное шитье, она сказала:

«Мне надо в больницу, а ты спокойно поработай за столом».

«В больницу? Так поздно?»

«Завтра с утра у меня две операции,— одеваясь, говорила Лу.— Я немного волнуюсь, лучше пойти посмотреть».

Вообще-то по вечерам Лу Вэньтин часто забегала в больницу.

«Человек дома,— шутил Фу,— а душа его в больнице. Оденься потеплее, вечер холодный».

«Я мигом вернусь,— успокоила его Лу.— Знаешь, завтра я оперирую двоих, старого и малого. Одного заместителя министра, чья супруга волнуется перед операцией и треплет нервы — себе и всем, поэтому я хочу навестить больного. Там еще одна девушка, жутко избалованная. Сегодня поймала меня и стала жаловаться: мол, у нее бессонница, кошмары...»

«Ну, что ж, мой милый доктор, иди и поскорей возвращайся».

Когда она вернулась, свет в комнате еще горел. Она не стала отрываться от работы и, поправив одеяла у ребятишек, тихонько прилегла.

Фу Цзяцзе взглянул на жену и, успокоившись, что она дома, с головой ушел в свою рукопись и книги. Однако вскоре он, даже не оборачиваясь, почувствовал, что Лу все еще не спит. Ее мерное посапывание не обмануло его, он знал, она прикидывается спящей, чтобы он мог спокойно работать, не тревожась, как бы свет лампы не помешал ей заснуть. Фу давно разгадал эти маленькие уловки жены, но ему не хотелось выводить ее на чистую воду.

Он поднялся и, потянувшись, сказал:

«Хватит! Пора на боковую!»

«Не из-за меня ли?— поспешно откликнулась Лу.— Я уже почти заснула».

Фу постоял в нерешительности над своей неоконченной работой, упершись руками о край стола, потом с шумом захлопнул книги.

«Нет, на сегодня хватит!»— решительно произнес он.

«А как же твоя монография? Когда и писать ее, как не по вечерам?»

«Эх, у меня пропало десять с лишним лет, разве за единственный вечер наверстаешь упущенное?»

Лу привстала, облокотившись о край кровати, накинула на себя шерстяную кофту.

«Знаешь, о чем я думала?»— серьезно спросила она.

«Тебе сейчас ни о чем думать не следует. Спи, завтра оперировать больных...»

«Постой, не перебивай меня. Я думала: лучше тебе перебраться жить в институт. Тогда у тебя появится свободное время».

Фу изумленно уставился на нее, но она ответила ему ясной улыбкой, говорившей, что ей самой эта мысль пришла по душе.

«Я не шучу, должен же ты осуществить свои замыслы и стать ученым. А мы с детьми обуза для тебя, мешаем тебе поскорее добиться успеха».

«Э! Не в этом дело...»

«Нет, в этом!— прервала его Лу.— Ты не подумай только, это не развод. Детям нужен отец, ученому — семья. Но мы должны что-то придумать, чтобы растянуть твой рабочий день с восьми до шестнадцати часов».

«Свалить на тебя двоих детей, кучу домашних дел, как можно?»— возмутился Фу Цзяцзе.

«А почему нельзя? Мир не перевернется, и мы будем, как прежде, вращаться на нашем земном шаре!»

Он указывал ей на все новые и новые трудности, но у нее находился ответ на все его возражения.

«Ты сам всегда говоришь, я сильная женщина!— наконец

заявила она.— Не бойся! Мы не пропадем, и сын будет сыт, и дочь я не дам в обиду».

После долгих препирательств он уступил. Было решено завтра же начать новую жизнь.

«Да, нелегко что-то сделать в Китае! — раздеваясь, вслух рассуждал Фу Цзяцзе.— Во время войны наши отцы жертвовали собой ради победы революции, теперь мы не щадим себя ради осуществления четырех модернизаций. Одна беда — сплошь и рядом эти жертвы проходят незамеченными...»

Так он говорил сам с собой, вешая одежду на спинку стула, как вдруг заметил, что Лу Вэньтин заснула. По лицу спящей блуждала улыбка, словно и во сне она радовалась новой своей затее.

Кто мог знать, что попытка начать новую жизнь провалится в первый же день?

13

Попытка не удалась, зато обе операции прошли успешно.

В то утро, когда она по обыкновению минут за десять до начала рабочего дня пришла в больницу, Сунь Иминь встретил ее словами:

«У меня для вас новость, доктор Лу! Поступил материал для пересадки роговицы, будете ли вы оперировать?»

«Конечно! — сразу радостно отозвалась Лу.— У меня как раз есть больной, который ждет не дождется операции».

«Но у вас на утро уже назначены две операции. Как, выдержите такую нагрузку?»

«Выдержу», — Лу Вэньтин, смеясь, распрямилась, словно желая показать, сколько таится в ней неисчерпаемой энергии.

«Что ж, за дело!» — решил Сунь Иминь.

Лу Вэньтин, подхватив Цзян Яфэнь под руку, легкой походкой направилась в операционную. Она была в прекрасном расположении духа, будто ей предстояла не напряженнейшая работа, а приятное увеселение.

Операционный блок больницы был построен с размахом и занимал целый этаж. На белых стеклянных дверях крупными

красными иероглифами было выведено «Операционная». Когда больной на каталке исчезал вместе с медсестрой за стеклянной дверью, родным оставалось лишь ходить взад и вперед перед этими суровыми воротами, боязливо заглядывая в таинственный и страшный мир. Сама смерть, казалось, поселилась там, готовая в любую минуту протянуть свои дьявольские когти и навсегда унести близкого человека.

На самом деле операционная вовсе не была обителью смерти, здесь людям дарили жизнь. Просторный коридор с высокими потолками вел в операционную, выкрашенные в мягкие светло-зеленые тона стены приглушали яркость света. По обе стороны коридора находились операционные различных отделений: хирургического, гинекологического, уха, горла, носа и глазного. Все, кто работал тут, ходили в белых стерильных халатах и голубых шапочках с иероглифами «операционная», надвинутых на самые уши, с белыми марлевыми респираторными масками на лицах, виднелись одни лишь глаза. Тут не делали различий между красотой и уродством, и даже между мужчиной и женщиной. Тут были только врачи, ассистенты, анестезиологи, хирургические сестры. Люди в белых халатах быстрыми легкими шагами то и дело сновали по коридору, где не было слышно ни смеха, ни разговоров. В огромной, на несколько тысяч коек, больнице операционные выделялись особым покоем и порядком.

Цзяо Чэнсы привезли в операционную. Он лежал на высоком белом операционном столе с металлическими распорками, под стерильной простыней с отверстием для операционного поля. Лицо его было закрыто, и только в овальном отверстии виднелся подготовленный к операции глаз.

Лу Вэньтин переоделась и, высоко подняв руки в резиновых перчатках, села у операционного стола на круглый медицинский табурет. Вращая, его можно было поднять и опустить, как седло велосипеда. Лу была маленького роста, и ей приходилось всегда поднимать табурет, но сегодня он был ей впору. Она благодарно взглянула на Цзян Яфэнь, свою верную подругу, с которой ей предстояло вскоре разлучиться.

Сестра подкатила к операционному столу квадратный поднос с тончайшими инструментами: ножницами, иглами, хирургическими и анатомическими пинцетами, зажимами, иглодержателями, глазными ложками. Он помещался над операционным полем так, чтобы врач мог дотянуться до любого необходимого ему инструмента. Со стороны могло показаться, будто перед сидящей у стола Лу Вэньтин, как в столовой, поставлен поднос с едой, но тут, в отличие от столовой, между врачом и столом был оперируемый глаз.

«Начинаем. Не напрягайтесь. Сейчас я сделаю обезболивающий укол, и глаз потеряет чувствительность. Операция скоро кончится»,— сказала Лу Вэньтин.

«Подождите!»— вдруг вскричал при этих словах Цзяо Чэнсы.

Что произошло? Лу и Цзян застыли в изумлении при виде того, как Цзяо Чэнсы сорвал с лица простыню и протянул вперед руки.

«Лу Вэньтин,— произнес он,— признайтесь, это вы оперировали меня в прошлый раз?»

Она, высоко подняв руки, чтобы больной не задел их, не успела ответить, как он возбужденно заговорил:

«Вы, вы, не отпирайтесь! Вы и тогда так же говорили, та же интонация, тот же голос!»

«Да, я»,— пришлось сознаться Лу.

«Что же вы раньше не сказали?»

«А, пустое...»— Лу не нашлась с ответом. Она огорченно смотрела на сорванную повязку, жестом показывая сестре, что ее надо сменить.

«Товарищ Цзяо, начнем!»

Цзяо Чэнсы учащенно дышал, не в силах успокоиться.

«Не двигаться! Не разговаривать! Начинаем!»

Она сделала укол новокаина в нижнее веко, потом, проткнув иглой нижнее и верхнее веко больного глаза, отогнула их и зафиксировала на повязке. Таким образом, глазное яблоко с затемненным хрусталиком полностью обнажилось при свете лампы. Лу Вэньтин видела теперь только больной глаз, все остальное для нее перестало существовать. И хотя у нее на счету

было много таких операций, но всякий раз, садясь за операционный стол и беря в руки скальпель, она чувствовала себя воином, впервые идущим в бой. Так было и на сей раз. Она с величайшей осторожностью вскрыла конъюнктиву глазного яблока, сделала надрез на роговице, а тем временем Цзян Яфэнь уже протягивала ей иглу. Тонкими длинными пальцами Лу так же бережно взяла похожий на крохотные ножницы иглодержатель и, зажав иглу, стала прокалывать роговицу.

Но что это? Игла не входит в ткань. Напрягаясь изо всех сил, она делает еще несколько безуспешных попыток.

«В чем дело?»— встревожилась стоявшая рядом Цзян Яфэнь.

Не ответив, Лу поднесла инструмент к лампе, внимательно рассматривая закругленную, похожую на рыболовный крючок иглу.

«Новая?»— повернувшись, спросила она. Цзян Яфэнь тут же переспросила хирургическую сестру:

«Вы меняли иглу?»

«Меняла».

«Ну разве можно пользоваться такими иглами?»— бросив еще один взгляд на иглу, тихо сказала Лу.

О бракованных, нестандартных медицинских инструментах Лу и другие врачи говорили не раз. И все-таки недоброкачественные инструменты то и дело появлялись на операционных подносах. Лу Вэньтин приходилось отбирать пригодные для работы скальпели, ножницы, иглы: она просила сестру беречь их, многократно используя на операциях.

Сегодня почему-то заменили весь комплект инструментов, и, как назло, опять обнаружился брак. В таких случаях обычно уравновешенная Лу Вэньтин менялась в лице, строго выговаривала сестре. Та молча, не оправдываясь, глотала незаслуженную обиду. Да, игла-то была, конечно, совсем крохотной, но когда ею несколько раз приходилось протыкать роговицу большого глаза, это не только замедляло ход операции, но и могло привести к нежелательным травмам.

Лу Вэньтин нахмурилась. Больной был перед ней на операционном столе, а она не могла сделать прокол роговицы. Ста-

раясь, чтобы он не услышал, она сказала тихо:

«Сменить иглу!»

Сестра быстро вынула из стерилизатора старую иглу.

Хирургические сестры, уважая доктора Лу, в то же время немного побаивались ее. Уважали за мастерство, изящество операций, побаивались за строгую взыскательность. Глазное отделение не случайно прозвали хирургическим, авторитет окулиста полностью зависел от скальпеля. Скальпель в его руках мог вернуть больному зрение, мог и погрузить во тьму. Такие, как Лу, врачи, без чинов и званий, пользовались непререкаемым авторитетом именно за мастерское владение хирургическим ножом.

Иглу сменили, Лу Вэньтин, быстро удалив катаракту, наложила лигатуру. Операция близилась к концу, как вдруг в тот самый момент, когда разрез роговицы еще был открыт полностью, больной зашевелился под простыней.

«Не двигаться!»— строго сказала доктор Лу.

«Не двигаться! Что с вами?»— торопливо подхватила Цзянь Яфэнь.

Из прорези простыни со свистом вырвалось:

«Я... Меня... кашель душит... О-о!!!»

Да! Супруга его как в воду глядела! И почему именно в самый критический момент операции ему понадобилось откашляться! Может быть, условный рефлекс или психический настрой?

«Потерпите?»— спросила Лу.

«Нет... не могу...» Грудь Цзяо Чэнсы тяжело вздымалась.

У любого, даже самого опытного хирурга в момент вскрытия глазного яблока все чувства обострены до предела. И тут не приведи бог пациенту раскашляться!

Не теряя времени, Лу предприняла экстренные меры.

«Минутку,— тем временем успокаивала она больного.— Выдыхайте потихоньку, сразу не откашливайтесь!»

Руки ее безостановочно работали, разговаривая с больным, она затянула лигатуру. У Цзяо Чэнсы из груди вырывалось тяжелое дыхание, казалось, его настигает смерть. Наконец,

сделав последнюю перевязку, доктор Лу, облегченно вздохнув, говорит:

«Можете кашлять! Только осторожнее!..»

Но больной не кашляет, дыхание его понемногу выравнивается.

«Кашляйте, можно», — в свою очередь говорит Цзян Яфэнь.

«Простите, — смущенно отвечает Цзяо. — Я... я не хочу кашлять. Продолжайте операцию!»

Цзян возмущенно вскинула на него глаза. Взрослый человек, вертелось у нее на языке, а не умеете владеть собой. Но Лу оставила ее взглядом, и та прикусила язык. Они переглянулись с улыбкой. Что ж, всякое бывает!

Лу Вэньтин, ослабив швы, начинает операцию сначала и благополучно завершает ее.

Пока доктор Лу выписывала больному назначение, сестра перенесла Цзяо на каталку, чтобы вывезти из операционной.

Вдруг он подал голос:

«Доктор Лу!» Голос его слегка дрожал, как у напроказившего мальчишки.

Лу подошла, наклонилась к лицу с перебинтованными глазами.

«В чем дело?» — спросила она.

Цзяо протянул руку и, хватая вслепую воздух, поймал ее руку в перчатке и крепко пожал.

«Оба раза я доставил вам столько лишних хлопот, мне, право, очень совестно...»

Лу застыла на мгновение и, взглянув на перевязанное крест-накрест лицо, мягко сказала:

«Не волнуйтесь, отдыхайте, через несколько дней снимем швы».

Сестра увезла Цзяо Чэнсы. Лу бросила взгляд на стенные часы. Операция, которая обычно идет сорок минут, на этот раз растянулась на целый час. Она сбросила операционный халат, стянула с рук резиновые перчатки и тут же потянулась за свежим стерильным халатом. Сестра помогла ей завязать сзади тесемки.

«Начнем следующую операцию?»— спросила Цзян Яфэнь.
«Начнем».

14

«Эту операцию уступи мне, а ты пока передохни, сделаешь последнюю»,— предложила Цзян.

Но Лу, смеясь, покачала головой.

«Нет, лучше уж я сама. Ты не знаешь этой девчурки, у нее поджилки трясутся от страха. За эти два дня она немного привыкла ко мне и теперь меньше боится».

Упирившуюся Сяомань медсестра не привезла на каталке, а насильно волоком втащила в операционную. На девочке был большой, не по росту, больничный халат. Заупрямившись, она ни за что не хотела лечь на операционный стол.

«Тетя Лу, я боюсь, не надо операции, поговорите с мамой!»

Вид врачей и сестер в масках и хирургических халатах привел девочку в полное смятение. Сердце у нее бешено заколотилось, и, отталкивая руки медсестры, она с мольбой бросилась к Лу Вэньтин.

«Постой, Сяомань,— ласково пыталась образумить ее Лу.— Ведь у нас с тобой был уговор, а? Будь умницей! Я сделаю тебе укол, и, вот увидишь, ты ничего не почувствуешь».

Ван Сяомань с ног до головы осмотрела изменившуюся Лу Вэньтин, заглянула ей прямо в глаза. Добрый взгляд улыбающихся глаз приободрил ребенка, и, повинуясь чужой воле, она незаметно для себя оказалась на операционном столе. Сестра повязала ей лицо простыней с отверстием и, угадав жест Лу, быстро пристегнула ей руки. Сяомань и пикнуть не успела, как услышала рядом голос сидевшей у изголовья Лу Вэньтин:

«Ван Сяомань, будь послушной! Тут всем привязывают руки. Не шевелись, сейчас все кончится!— Делая анестезирующий укол, она пояснила:— Сейчас я делаю обезболивание. Теперь ты ничего не чувствуешь».

Лу была в этот момент не просто врачом, а еще и доброй мамой, заботливой воспитательницей этого ребенка. Беря из рук Цзян Яфэнь ножницы, пинцеты, она тихо и неторопливо

беседовала со своей маленькой пациенткой. Когда она, надрезая наружную мышцу глаза, задела нерв, больная застонала и почувствовала тошноту.

«Мутит, да?— быстро спросила Лу.— Ничего, потерпи немного. Вот молодец! Ну как, тошнит? Лучше? Я скоро кончу, моя хорошая!»

Убаюканная этим голосом, в каком-то полубытьи, маленькая Ван не заметила, как операция закончилась. Когда ее, перебинтованную, вывозили из операционной, она, очнувшись, вспомнила наказ матери и под общий хохот старательно протянула:

«Спасибо, тетя!»

За время операции большая стрелка часов прошла всего полкруга, но Лу Вэньтин вся покрылась потом. На лбу выступила испарина, майка прилипла к телу, даже операционный халат под мышками был мокрый. «На улице ведь не жарко,— удивилась про себя Лу Вэньтин,— отчего я так вспотела?» Она слегка пошевелила руками, видимо, от неудобного положения на весу во время операции они затекли и болели. Она сняла с себя халат, чтобы переодеться в свежий, как внезапно, словно от удара, из глаз посыпались искры. Лу прикрыла глаза, повертела головой, осторожно просовывая руки в рукава халата. Сестра, подошедшая завязать ей пояс, испуганно отпрянула.

«Доктор Лу! Что с вами? У вас губы побелели!»

Цзян Яфэнь, которая в это время тоже переодевалась, взглянув на Лу, не могла удержать возгласа:

«Ой, правда, на тебе лица нет!»

Лу Вэньтин выглядела совсем больной. Белое, как мел, лицо с припухшими веками и черными, будто подведенными тушью, кругами под глазами, казалось трагической маской актера.

Выдержав взгляд Цзян Яфэнь, она сказала негромко:

«Ничего! Сейчас пройдет».

Лу искренне верила: так оно и будет, пересилю себя, продержусь. Держалась же столько лет!

«Будете ли вы делать следующую операцию?»— спросила медсестра, не двигаясь с места.

«Буду!»

Разве можно откладывать? Материал для пересадки роговицы долго хранить нельзя, больной нервничает; надо, надо оперировать!

Цзян Яфэнь подошла к подруге:

«Вэньтин, лежи полчаса перед операцией».

Часы показывали десять. Если она выбьется на полчаса из графика, все, кто столуется здесь, останутся без горячего, а те, у кого все работают и кто возвращается домой покормить детей, без обеда.

«Так как же?»— переспросила сестра.

«Начинаем».

15

Врачам, проходившим в клинике курс усовершенствования, было разрешено присутствовать на операции по пересадке роговицы. Они стояли у операционной и разговаривали с Лу Вэньтин.

Тем временем медсестра помогла старику Чжану лечь на операционный стол, где он едва уместился. Его большие ноги в простых носках свешивались с операционного стола, руки, выпроставшись из-под простыни, висели на подлокотниках. От всей его крепкой, точно могучий дуб, фигуры исходила энергия и сила. Зычный голос его гремел, не умолкая ни на минуту.

«Девушка,— говорил он сестре,— ты не смейся, я ни за какие коврижки не полез бы под нож. Да ты сама подумай, свою-то плоть под чужой нож, добром ли это кончится! Ха-ха-ха!»

Молодая медсестра так и прыснула.

«Дедушка, говорите потише»,— попросила она.

«Понимаю, сестричка, как не понять, это ведь больница, тут покой нужен.— Но голос его между тем гремел по-прежнему.— Так вот, стало быть, как узнал я, что меня от слепоты могут вылечить, веришь ли, то смеюсь, то плачу. Отец у меня тоже полвека слепым проходил, помыкавшись, так и сошел в могилу слепцом. Кто же мог подумать, что, когда мой черед

придет, меня снова зрячим сделают и я солнце увижу? Вот тебе и два мира! Как не сказать, социализм — это здорово!» — жестулируя, с воодушевлением говорил старик. Молоденькая сестра посмеивалась, не разжимая губ, и, повязывая простыню, пыталась унять расхोдившегося больного.

«Дедушка, лежите спокойно, это стерильная повязка, смотрите не запачкайте!»

«Как же, конечно, в чужой монастырь... попал в больницу, так делай все, как заведено».

Но рука его при этом опять потянулась вверх. Сестра, с беспокойством следившая за ним, взялась за привязанный к операционному столу шнурок.

«Дедушка,— сказала она,— мы вам привяжем руки у запястья, у нас тут такой порядок!»

Старик на миг опешил, потом со смехом заговорил:

«Вяжи, чего уж там! По правде говоря, сестричка, кабы не глаза, не стал бы я тут сидеть как истукан. Дома небось я за день в поле две смены отрабатываю. Эх! От рождения у меня характер прыткий, как у зайца, не могу усидеть на месте!»

Сестру опять насмешили его слова, да и сам он залился смехом. Но в это время вошла Лу Вэньтин, и смех сразу оборвался.

«Это вы, доктор Лу?— подал голос старик Чжан.— Я враз признал вас. Верите ли, стоило мне потерять свет, как уши всюю наострились, видно, пошли глазам на подмогу».

Лу не могла сдержать улыбки при виде этого жизнерадостного человека. Началась подготовка к операции. Пока с хирургического подноса она осторожно брала ценный материал для пересадки роговицы и прикрепляла его к кусочку марли, старик Чжан успел ввернуть пару слов:

«Сколько живу на свете, а не слышал, что можно глаз заметить!»

«Не глаз,— с улыбкой поправила Цзян Яфэнь,— а только часть оболочки глаза».

«А, все одно!— он не склонен был особенно вникать во все тонкости.— Ты скажи лучше, какие руки надо иметь! Вот вернись я домой зрячим на оба глаза, по деревне сразу слух

пойдет: тут, мол, не обошлось без волшебства! Ха-ха-ха! Придется сказать, что волшебника звать доктор Лу!»

Цзян Яфэнь фыркнула, подмигнув Лу Вэньтин. Та смутилась. «Здесь все врачи делают то же, что и я»,— сказала она.

«Ясное дело!— согласился Чжан.— Шутка ли! Да разве кого попало возьмут в такую больницу? Небось и близко на порог не пустят!»

Закончив подготовку, Лу Вэньтин оттянула веки и приступила к операции.

«Начнем,— сказала она.— Не напрягайтесь».

Старик, который считал невежливым молчать, когда доктор говорит с ним, тут же с готовностью откликнулся:

«Не напрягаюсь, не напрягаюсь, а хоть и поболит, так ничего. Как не поболеть, когда тебя тут и ножичком, и ножницами! Не волнуйтесь, доктор, режьте спокойно! Я вам верю, опять же...»

«Дедушка, не разговаривать!»— со смехом прервала его Цзян Яфэнь.

Операция началась. Тонким, как острие пера, буравчиком Лу Вэньтин подцепила отмершую роговицу, заменив ее точно таким же по размеру кусочком ткани для пересадки. Потом, взяв иглодержатель, стала один за другим накладывать швы.

На крохотном, величиной с булавоочную головку, пространстве ей надо было сделать двенадцать швов. И сделать не по канве, а по скользкому выпуклому сектору оболочки глаза. Каждым стежком, стоившим ей огромного напряжения воли, она как бы стремилась через тончайшую, с человеческий волос, нить, через миниатюрную иглу влить свою горячую кровь в больной глаз. И тогда ее собственные, одухотворенные мудростью, глаза становились прекрасными.

Операция сделана блестяще, наложена последняя лигатура. Пересаженная ткань суровой шелковой нитью плотно пришита к главному яблоку. И лишь темные узелки выдают место только что сделанной пересадки роговицы.

«Ювелирная работа!»— искренне восхищались присутствовавшие на операции врачи.

Лу Вэньтин перевела дух. Цзян Яфэнь подняла на подругу растроганный взгляд и, ничего не сказав, наложила на глаз больного повязку.

Старого Чжана повезли на каталке к выходу. Он очнулся, тотчас оживился и бодрым голосом крикнул из коридора:

«Доктор Лу, спасибо, намаялись вы со мной!»

Операция окончена, все разошлись, пора и Лу вставать, но онемевшие ноги не слушаются ее. Она подождала, снова попробовала подняться, и, когда после многих попыток ей удалось наконец встать, страшная боль пронзила вдруг поясницу. Она схватилась рукой за бок. Так часто бывало и раньше, когда в крайне нервном напряжении, часами сидя на круглом медицинском табурете и вкладывая все свои физические и духовные силы в операцию, она забывала об усталости. Усталость приходила потом, после операции, вместе со странным ощущением: тело не повиновалось ей и с трудом давался каждый шаг.

16

Тем временем Фу Цзяцзе на велосипеде спешил домой.

Вообще-то после разговора с Лу Вэньтин накануне вечером он, собрав с утра свои пожитки и уложив их на багажник, отправился в свой институт с намерением начать новую жизнь.

Но к обеденному перерыву решимость его поколебалась. Сегодня у нее операционный день, вспомнил он, удастся ли ей вовремя освободиться? И стоило ему представить, как измученная Вэньтин возвращается домой и, сбиваясь с ног от усталости, готовит обед, Фу стало не по себе. Он вскочил на велосипед и поехал домой.

Первое, что он увидел в своем переулке, была Лу Вэньтин. Она стояла у стены, видимо, не в силах сдвинуться с места.

«Вэньтин! Что с тобой?»

Соскочив с велосипеда, Фу Цзяцзе подхватил ее.

«Ничего, устала немного».

Она оперлась на его плечо и, едва переступая ногами, пошла к дому.

«Дело не в усталости», — с тревогой думал Цзяцзе, глядя

на ее белое как мел лицо и пот, выступивший на лбу.

«Может быть, сходим к врачу?»

«Нет-нет, отдохну, и все пройдет».

Фу Цзяцзе помог ей раздеться, и она молча легла.

«Полежи,— сказал он,— отдохни, я разбуджу тебя...»

«Я не засну, просто полежу».

Фу вышел на кухню, поставил на огонь кастрюлю с водой и, вернувшись в комнату за пачкой вермишели, услышал, как Лу Вэньтин сказала:

«Хорошо бы отдохнуть! Давай в воскресенье поедем с детьми в парк Бэйхай. Мы так давно там не были!»

«Хорошо, я с радостью»,— тут же отозвался Цзяцзе, и недоброе предчувствие шевельнулось в нем. Почему ей вдруг вспомнился парк Бэйхай, где они не были лет десять?

Встревоженно посмотрев на жену, он пошел на кухню варить на обед вермишель. Вместе с приправой — мелко нарезанным зеленым луком и маринованными овощами — он внес обед в комнату. Лу лежала с закрытыми глазами, и он не стал будить ее. Юаньюань как раз вернулся из школы, и они принялись за еду.

Вдруг с кровати послышался стон. Отставив тарелку, Фу быстро повернулся к жене.

«Не могу»,— опять вырвалось у нее.

Фу Цзяцзе растерялся, прикоснулся к кончикам ее пальцев, испуганно спросил:

«Что у тебя болит? Скажи!»

Она молча показала на грудь. Фу заметался по комнате, поочередно выдвигая ящики стола, вытаскивая из вороха лекарств то болеутоляющее, то успокоительное.

Превозмогая страшную боль, Лу — она не теряла самообладания — жестом остановила мужа.

«В больницу»,— выдавила она.

Только тут Фу Цзяцзе понял: положение ее опасное. Никогда прежде она не показывалась врачам, значит, на сей раз с ней стряслось что-то серьезное. Он опрометью выбежал из комнаты, на ходу бросив:

«Пошел за такси».

Телефон-автомат был в начале переулка. Фу быстро связался с таксопарком, где ему холодно ответили: машин нет.

«Алло, алло! Мне больного... в больницу!»

«Все равно придется подождать полчаса».

Он готов был просить, умолять, но там положили трубку.

Не теряя времени, он быстро набрал номер больницы, где работала Лу Вэньтин. Но в глазном отделении никто не поднял трубку, тогда он попросил через коммутатор связать его со скорой помощью.

«Мы не можем выслать машину без письменного разрешения начальства», — ответили ему на скорой.

«Где можно получить разрешение? Алло, алло!» — срывающимся голосом кричал он в трубку, но на другом конце провода его уже не слушали.

Тогда он позвонил в политотдел больницы. «Их это тоже касается», — подумал он. Он долго ждал, наконец раздался женский голос. Выслушав Фу Цзяцзе, женщина вежливо посоветовала ему обратиться к администрации больницы.

Когда через коммутатор он попросил административный отдел, телефонистка, узнав его голос, раздраженно спросила:

«Кто вам в конце концов нужен?»

Кто нужен? Фу и сам толком не знал. Он был в полном отчаянии.

О такси он уже и не мечтал, хорошо бы, на худой конец, найти велорикшу. Кстати, тут у них в переулке на фабрике «Седьмое мая» работают велорикши, они перевозят готовую продукцию — картонные коробки. Фу Цзяцзе помчался на фабрику, в двух словах объяснив все управляющей, старой женщине. Она посочувствовала ему, но не смогла помочь: все велорикши на выезде.

Что делать? Как безумный он выскочил на улицу. Отвезти на велосипеде? Но она даже сидеть не может!

В это время показался грузовик, и Фу, не отдавая себе отчета, шагнул вперед на проезжую часть и поднял руку.

Шофер притормозил и, высунувшись из кабины, вперил в

Фу возмущенный взгляд. Длинные усы закрывали половину лица. Однако, узнав в чем дело, он, ни слова не говоря, открыл дверцу, приглашая Фу в машину.

Грузовик остановился у дверей дома. Поддерживаемая мужем, Лу Вэньгин, с трудом передвигая ноги, подошла к машине, шофер сразу подхватил ее, помог подняться в кабину и осторожно довез до приемного покоя больницы.

17

Никогда она не спала так долго, никогда так глубоко не проваливалась в сон. Казалось, с головокружительной высоты она рухнула вниз, разбившись так, что на ней не осталось живого места. И вдруг — эта удобная койка, на которой покоится ее тело... Мерно, ритмично стучит сердце, в голове какая-то легкость и пустота.

Сколько лет в суете повседневной жизни ей недосуг было остановиться, оглянуться на пройденный путь с его невзгодами и трудностями и уж тем паче некогда было задуматься о терниях и лишениях, хоть их и сулило ей будущее. Но теперь непосильная ноша сброшена с плеч, она свободна от трудов и хлопот, и у нее вроде бы хватит времени пройтись по дорогам прошлого, заглянуть в будущее. Увы, в голове пустота, ни воспоминаний, ни надежд — ничего.

О, как страшна эта пустота!

А может, это всего лишь сон, тоскливый сон. Ей и раньше снились такие же тягостные сны...

В тот год ей исполнилось пять лет. Вечер, за окном воеет северный ветер. Мама ушла, оставила ее дома одну. Спустилась ночь, а мама все не возвращалась. Впервые в жизни ей стало одиноко и страшно. Она заплакала, закричала: «Мама-а!.. Мама-а!»

Потом эта картина — дико завывающий ветер, хлопающая на ветру дверь и тусклый свет керосиновой лампы — так живо и часто повторялась в ее снах, что она усомнилась, явь ли это, привидевшаяся во сне, или сон, показавшийся ей явью.

Нет, сейчас все происходит не во сне, а наяву! Она лежит на больничной койке, рядом, согнувшись, примостился Фу Цзяцзе. Он, видно, очень устал, облокотился на спинку кровати и заснул. Фу простудится, хорошо бы разбудить его. Она пытается окликнуть мужа — раз, другой, но не слышит собственного голоса. В горле словно застрял ком, она не может произнести ни звука. Лу тянется к нему, хочет прикрыть чем-нибудь, но руки, словно чужие, повисают плетью.

Оглянувшись кругом, она обнаружила, что лежит в отдельной палате, в какие обычно помещают тяжелобольных, требующих особого ухода. Ее охватил ужас, неужели она...

Осенний ветер ревет за окном, ночной мрак окутал комнату. Она покрылась холодным потом. Но пробудившийся разум ее осознает: все происходящее с нею — реальность, а вовсе не призрачное сновидение. Значит, это — конец жизни, смерть у порога.

Смерть, так вот она какая... нестрашная, безболезненная. Жизнь тихо угасает, и смерть медленно усыпляет сознание, мягко увлекает за собой. Так гонимый по волнам лист рано или поздно тонет, погружаясь на дно.

Она почувствовала: всему наступил конец... Безвозвратно... Бурлящий вал накрыл ее и понес по течению...

«Ма-ма... Ма-ма...»

Она слышит, как дочь зовет ее, видит ее, бегущую по берегу реки. Лу судорожно оборачивается, протягивает руки, кричит, задыхаясь:

«Цзяцзя!.. Доченька!..»

Поток увлекает ее все дальше. Лицо дочери расплывается, хриплый голос переходит в жалобные всхлипывания.

«Мама... заплети мне косички...»

Но что помешало ей исполнить желание дочери, ведь девочке всего шесть лет от роду и ей в жизни ничего так не хотелось, как косичек? С какой завистью Цзяцзя провожала глазами подружек с вплетенными в косички красивыми бантами! Но у нее не было времени даже на это, с утра в больнице самая горячка, дорога каждая минута.

«Ма-ма... Ма-ма...»

Она узнает голос Юаньюаня. Вон он бежит по берегу. Она протягивает к нему руки.

«Юаньюань... сынок!..» — кричит она.

Волна сбивает ее, она захлебывается и когда, наконец, с трудом поднимает голову над водой, Юаньюаня уже не видно, только издали едва доносится его голос:

«Мама... не забудь... белые кеды...»

Перед глазами вдруг возникает витрина спортивной обуви. Чего тут только нет: кеды и полукеды... белые, синие, белые с красным и синим кантом. Выбери сыну; те, что на нем, давно износились. Купи Юаньюаню белые кеды, и радости его не будет предела. Но через мгновение товары исчезают, и перед ней ярлыки с ценами... Три юаня один цзяо... Четыре юаня пять цзяо... Шесть юаней три цзяо...

Цзяцзе в испуге бежит за ней вдогонку, в воде отражается его бегущая тень, голос его срывается...

«Вэньтин, не уходи...»

Ах, если б можно было остановиться, подождать его, выбрать-ся на берег! Но, увы, неумолимый поток уносит ее все дальше и дальше.

«Доктор Лу! Доктор Лу!»

Сколько людей на берегу зовет ее!

Яфэнь в белом халате, старина Лю, директор Чжао, заведующий отделением Сунь, Цзяо Чэнсы в больничной пижаме, старик Чжан, маленькая Ван Сяомань и еще множество больных; одних она помнит, других уже забыла — все они зовут ее, зовут...

Зовут меня? Я не могу, не в силах идти! Я еще многого не сделала в жизни, не выполнила до конца свой долг. Нет, не могу я оставить детей сиротами. Не могу покинуть Цзяцзе на пороге старости одного. Мне жаль бросать больных, больницу. Жаль расставаться с этой постылой и мучительной, но такой еще притягательной жизнью!

Я не позволю затянуть себя в омут смерти. Буду бороться из последних сил, чтобы остаться с людьми. Но откуда во

мне эта усталость? Нет сил бороться, противиться, иду на дно, на дно...

Ах! Прощай, Юаньюаны! Прощай, Цзяцзя! Не забывайте вашу маму! Она до последнего вздоха любила вас. Как я тоскую без вас, как мечтаю крепко прижать к себе, вымолить прощение... я слишком мало любила вас, отдергивала тянувшиеся к вам руки, не отвечала на ваши улыбки, с детства обездолила, обделила материнским теплом!

Прощай, Цзяцзе! Ты дал мне все. Без тебя труден был бы каждый шаг моей жизни. Без тебя мир стал бы скучен и бесцветен. Сколько жертв ты принес мне! Если мне будет дано покаяние, я на коленях вымолю прощение за то, что не сумела ответить на твою безграничную любовь, за то, что так мало заботилась о тебе, так мало смогла тебе дать. Сколько раз я хотела выкроить время и взяться всерьез за обязанности жены, вовремя вернуться с работы, приготовить тебе ужин. Я хотела уступить тебе письменный стол, освободить тебя от всего, чтобы ты мог, наконец, завершить свою работу. Теперь, увы, поздно, у меня опять нет времени.

Прощайте, мои больные! Прощайте, мои пациенты! Последнее восемнадцать лет вам принадлежала важнейшая часть моей жизни. Что бы я ни делала, перед моим мысленным взором всегда стояли вы, ваши глаза! Вы и не подозревали, какую радость и удовлетворение приносил мне — вашему врачу — каждый исцеленный глаз. Жаль, и этой радости не суждено мне больше испытать!

Прощайте, мои родные! Прощай, больница! Прощайте, больные! Ах, как жалко расставаться с вами!

Я...

18

— Перебои сердца! — констатировал врач, наблюдавший за экраном осциллографа.

— Вэньтин, Вэньтин! — пронзительно вскрикнул Фу Цзяцзе, видя, каким порывистым и затрудненным стало дыхание Вэньтин.

Дежурный врач и сестра подбежали к больной.

— Внутривенную инъекцию лидокаина! — распорядился врач.

Сестра с молниеносной быстротой ввела иглу в вену, но не успела влить и половину ампулы, как у больной сжались кулаки, посинели губы и закатились глаза. На фоне недостаточного дыхания началась асфиксия.

Сердце доктора Лу перестало биться. Были приняты экстренные меры. Врачи поочередно делали искусственный массаж сердца, раздалось характерное пыхтение, когда маску от аппарата искусственного дыхания наложили на лицо больной. Подключили вибратор, и под воздействием всей этой специальной аппаратуры сердце больной забилося.

— Приготовить лед, — сказал дежурный врач. Он был весь мокрый от пота. На голову Лу Вэньтин надели резиновую шапку со льдом.

19

Небо посветлело, наконец рассвело. Кризис, наступивший у Лу Вэньтин ночью, миновал, жизнь вступила в новый день.

Дежурная сестра тихонько подняла жалюзи, наглухо закрывавшие ночью окно, и в палату со спертым воздухом и застоявшимся запахом лекарств ворвались струя свежего воздуха и веселое щебетанье птиц. Заря вселила в умирающую надежду.

Один за другим приходили сестра с термометром, няня с завтраком, врачи из утренней смены. В больной, пережившей ночной кризис, вновь вспыхнули проблески жизни, с расцветом ее палата ожила.

Ван Сяомань с перебинтованным лицом, прикрывая рукой оперированный глаз, клянчила у сестры терапевтического отделения:

— Пустите меня к доктору Лу! Ну, хоть одним глазом взглянуть!

— Нельзя. Ее вчера с трудом спасли, к ней никого не пускают!

— Тетя! Да вы ничего не знаете! Она сразу после моей

операции и слегла! Ну, разрешите! Я ни словечка не скажу...

— Нельзя,— с каменным лицом оборвала ее сестра.

— Даже взглянуть нельзя?— спросила Сяомань, готовая вот-вот заплакать. Но тут она заметила приближавшегося к ним в сопровождении внука старого Чжана.— Дедушка Чжан,— бросилась она к нему,— хоть ты поговори с ней, не пускает, и все тут...— И она потянула старика с забинтованной головой к сестре.

— Товарищ, слышы!— сказал он.— Пропусти нас навестить доктора Лу.

Сестра при появлении нового просителя не на шутку рассердилась:

— Покоя нет от этих больных из глазного отделения!

— Тьфу! Ну, как ты не поймешь!— Старик, однако, убавил тон и тихо продолжал:— Ты не знаешь всей подоплеки, отчего заболела доктор Лу. Ведь все из-за наших операций. Я тогда, каюсь, и не заметил ее состояния. А теперь думаю, постоять бы у ее постели, все полегчает.

Сестра, смягчившись, терпеливо пояснила:

— Я тут ни при чем. У доктора Лу плохо с сердцем, ей нельзя волноваться. Разве вы не желаете ей добра? Ваш приход может ей повредить.

— А, вот оно что,— вздохнув, пробурчал Чжао. Пригорюнившись, он устроился на скамейке в коридоре и, хлопая себя руками по коленям, с искренним раскаянием стал отчаянно корить себя:— Все я виноват, старый хрыч, торопил ее с операцией, пристал как с ножом к горлу, скорей да скорей. Да разве я думал, что... оно обернется бедой для доктора Лу?

И он огорченно опустил голову.

Сунь Иминь перед работой тоже пришел навестить Лу Вэньтин. В коридоре его остановила Сяомань.

— Товарищ Сунь, вы идете к доктору Лу?

Сунь утвердительно кивнул.

— Возьмите меня с собой. Ну, пожалуйста!

— Через несколько дней возьму, а сегодня еще нельзя.

Услышав этот разговор, старик Чжан встал и, потянув Суня

за рукав, сказал:

— Товарищ Сунь, вы правы, мы не пойдем. Но у меня к вам разговор накоротке, и вы должны меня выслушать.

— Что ж, говорите!

— Товарищ Сунь, доктор Лу — хороший врач. И вам, начальству, надо бы отпустить деньги на ее лечение. Вы только ее спасите, а там уж она сторицей за все оплатит! Есть, небось, хорошие лекарства? Давайте ей, не жалейте! Слышал я, за дорогие лекарства здесь самому платить надо. А у доктора Лу семья, дети да тут еще эта хворь, им самим всего не вытянуть. Больница у вас большая, может, поди, раскошелиться?

Сунь Иминя, человека сурового и сдержанного в выражении чувств, растрогали слова старика, пожав ему руку, он взволнованно произнес:

— Не волнуйтесь, мы сделаем все, чтобы вылечить вашего доктора!

Старик Чжан, повеселев, подозвал внука и, нащупав у него под мышкой сверток, протянул его Суню со словами:

— Здесь яйца, передайте ей!

— Нет, это ни к чему,— запротестовал тот.

— А я не уйду отсюда, пока вы не возьмете!— в сердцах вскричал старик.

С неохотой Сунь взял сверток, решив через сестру вернуть его старику, но тот угадал его мысли:

— Только, чур, не возвращать. Я на это никак не согласен!

И лишь когда Сунь скрылся в палате, старик с внуком спустились вниз.

В это время к терапевтическому отделению подошли Чжао Тяньхуэй и Цинь Бо.

— Директор Чжао, пусть я бюрократка, не разбираюсь в обстановке, но вы-то, вы почему не в курсе того, что у вас творится?— раздраженно выговаривала Цинь Бо.— Да не узнай ее сам Цзяо, мы так и пребывали бы в неизвестности!

— Я был тогда в школе по перевоспитанию кадровых работников,— пришлось оправдываться Чжао.

Они вошли в палату одновременно с Сунь Иминем. Леча-

щий врач доложил о критическом состоянии больной и о принятых мерах. Чжао Тяньхуэй, прочтя запись в истории болезни, посоветовал продолжать тщательное наблюдение за больной.

Фу Цзяцзе поспешно поднялся со своего места, когда в палату вошли посторонние. Цинь Бо, не обратив на него внимания, подошла прямо к койке Лу Вэньтин.

— Доктор Лу, вам лучше?

Лу приоткрыла глаза, но ничего не ответила.

— Цзяо Чэнсы все мне рассказал,— вздохнув, сказала она.— Он вам очень благодарен. Хотел сам прийти, но я его не пустила и пришла вместо него. Скажите, может, вам нужно что-нибудь из еды или у вас какие-нибудь трудности, мы вам поможем, не стесняйтесь, ведь все мы — революционные товарищи.

Лу Вэньтин закрыла глаза.

— Вы еще молоды, будьте оптимисткой. Заболели — тут, конечно, ничего не поделаешь...

Она намеревалась продолжить разговор, но Чжао Тяньхуэй прервал ее:

— Товарищ Цинь Бо, больной надо отдохнуть, ей только что стало лучше.

— Хорошо, отдыхайте,— сказала Цинь Бо, вставая,— через два дня я навещу вас.

Выйдя из палаты, она, нахмурившись, обратилась к Чжао Тяньхуэю:

— Директор Чжао, мне не нравится, что вы не проявили заботы о таких кадрах, как доктор Лу, и довели ее до такой болезни! Кадры среднего поколения — наша основная сила, да, дорогой товарищ, следует дорожить кадрами!

— Верно,— отозвался собеседник.

Глядя на удаляющуюся фигуру Цинь Бо, стоявший поблизости Цзяцзе поинтересовался у Сунь Иминя:

— Кто это?

— Эта дама — марксистка-ленинка,— взглянув поверх очков и поморщившись, ответил тот.

В тот день Лу Вэньтин почувствовала себя немного лучше. Она могла без особых усилий открыть глаза, кроме того, она выпила две ложки молока и немного мандаринового сока. Но при этом она лежала на спине, неподвижно уставившись в одну точку, и ее остановившийся взгляд не выражал никаких чувств. Она казалась абсолютно безучастной ко всему происходившему вокруг, даже к собственному тяжелому заболеванию, к страданиям, которые она причинила всей семье. В глухом оцепенении, охватившем ее, было полное безразличие к жизни.

Впервые увидев ее в таком состоянии, Фу Цзяцзе испугался. Он заговорил с ней, но она лишь отмахнулась слабым движением руки, будто прося не тревожить ее, словно ей в этом так напугавшем его состоянии мертвого безразличия было хорошо и покойно и она решила навеки замкнуться в нем.

Время тянулось медленно для Фу Цзяцзе, вторую ночь подряд не смыкая глаз проводившего у постели жены. Он тоже дошел до того предела усталости, за которым начинается излом.

Он не помнил, сколько прошло времени, как вдруг истощенный женский плач, прорезавший больничную тишину, вывел его из состояния усталого оцепенения.

В соседней палате надрывно заплакала девочка:

— Ма... мама!

Вслед за этим послышался мужской плач. Из коридора донесся топот ног, бегущих на крик к соседней палате.

Фу тоже вскочил с места и увидел каталку, где под белой простыней лежало чье-то недвижимое тело. Показавшаяся в дверях медсестра в белом халате тихо толкала ее перед собой. За ней шла обезумевшая от горя девочка лет шестнадцати. Простоволосая, дрожащая, она все порывалась ухватиться за край каталки и, обливаясь слезами, молила сестру:

— Не увозите ее! Не надо! Мама заснула! О, она еще проснется, проснется!

Столпившиеся в коридоре родственники больных расступились, глубоким молчанием выражая сочувствие чужому горю. Затаив дыхание, люди стояли не шелохнувшись, боясь потревожить обретшую покой душу.

Стоявший рядом со всеми Фу словно прирос к полу. На его сильно осунувшемся лице резко выдавались скулы, в покрасневших глазах под густыми нависшими бровями показались слезы. Судорожно сжав в кулаки влажные от пота ладони, он тщетно пытался унять бившую его дрожь. Ему хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать душераздирающего плача.

— Ма, мама! Проснись! Проснись! Они увозят тебя!

Девочку с трудом оттащили от каталки, с которой она порывалась сдернуть простыню.

Замыкавший эту горестную процессию мужчина средних лет, безутешно рыдая, повторял одно и то же:

— О, прости меня! Прости меня!

Эти вопли отчаяния ножом резанули сердце Фу Цзяцзе, он стоял, не в силах оторвать глаз от медленно проплывавшей мимо него каталки, на которой под белой простыней распростерлось безжизненное тело. И вдруг, словно его ударило током, стремглав побежал в палату к Лу, приник к ее изголовью.

— Ты жива! Жива! Жива! — закрыв глаза, задыхаясь, твердил он.

Его голос вывел Лу из полудремотного состояния. Открыв глаза, она повернулась в его сторону и окинула безразличным невидящим взором.

— Вэньтин! — в отчаянии закричал потрясенный Фу.

И опять на лице Фу задержался тот же отчужденный взгляд, от которого у него кровь застыла в жилах, будто на него смотрел человек, чья душа уже покинула тело и нашла себе иную, заоблачную обитель.

Фу в растерянности не знал, чем, какими словами пробудить в ней волю к жизни. Это была его жена, самый родной человек на свете. Все эти долгие годы, прошедшие с той самой зимы, когда во время прогулки по парку Бэйхай он прочел ей стихи, и до сегодняшнего дня она была самым близким ему человеком.

Нет, он не может без нее. Он удержит, удержит ее!

Стихи! Он прочтет ей стихи, как читал их когда-то! Десять лет тому назад взволнованные поэтические строки раскрыли ее сердце, теперь они пробудят в ней счастливые воспоминания, волю к жизни, мужество.

Присев на корточки у постели жены, он начал сквозь слезы декламировать:

Стал бы я теченьем

...

Только пусть любимая
Рыбкой серебристой
Вольно плещется в струе,
Трепетной и чистой.

Она как будто уловила смысл строк и, скосив глаза, долгим внимательным взглядом посмотрела на мужа, губы ее задрожали. Фу, наклонясь, услышал, как она едва выдохнула:

— Я не могу... плыть...

Роняя слезы, он продолжал:

Стал бы темным лесом

...

Только пусть любимая
В чаще приютится
И в ветвях зеленых песни
Распевает птицей.

Лу опять тихо вздохнула:

— Я не могу... летать...

С невыразимой болью Фу читал ей стихи:

Стал бы старым замком

...

Только пусть любимая
Хмелем-повиликой
Заструится по руинам
Средь природы дикой.

Заблестевшие в уголках ее глаз прозрачные слезинки медленно скатились на белоснежную подушку. Она с усилием произнесла:

— Мне... не... подняться...

Фу Цзяцзе припал к ней и зарыдал, как ребенок:

— Я не уберег тебя...

Но когда он снова поднял на нее полные слез глаза, он опешил: остановившийся взгляд Лу, как и прежде, был устремлен в одну точку и выражал тупое безразличие к его плачу, к самим звукам его голоса, ко всему, что происходило вокруг. На шум в палату поспешил лечащий врач. Он сразу понял ситуацию.

— Доктор Лу очень слаба,— обратился он к Фу Цзяцзе,— и с ней нельзя так долго разговаривать!

И Фу Цзяцзе до конца дня не проронил с ней больше ни слова.

Сгустились сумерки. Лу слегка оживилась и, повернувшись к мужу, силилась что-то сказать ему.

— Вэньтин, что ты хочешь? Говори!— схватив ее за руку, взмолился Фу.

С трудом она произнесла:

— Юаньюаню... купи белые кеды...

— Завтра же куплю,— ответил он, смахивая невольно брызнувшие из глаз слезы.

Она, казалось, хотела сказать что-то еще. Наконец до него донеслись слова:

— Заплети косички... Цзяцзя...

— Заплету.

Затуманенными от слез глазами он смотрел на жену. Она лежала сомкнув губы, обессиленная, не произнося больше ни звука.

21

Через два дня Фу Цзяцзе получил письмо, отправленное из аэропорта. Распечатав его, он прочел:

«Вэньтин!

Кто знает, прочтешь ли ты мое письмо. Возможно, ему не суждено дойти до адресата. Надеюсь, это не так, уверена, что этого не случится. Сейчас ты тяжело больна, но ты попра-

вишься, я знаю. Тебе дано многое свершить в жизни, ты вступила в свой звездный час, не покидай нас так рано!

Вчера вечером, когда мы с Лю зашли попрощаться с тобой, ты была в забытьи. Дела и хлопоты перед отъездом помешали нам навестить тебя сегодня утром. При мысли о том, что наше вчерашнее свидание может оказаться последним, мое сердце обливается кровью. Нашей дружбе, начавшейся со студенческой скамьи, больше двадцати лет. Думала ли я, что нам, знавшим друг друга лучше, чем самих себя, предстоит такое прощание.

Я пишу тебе из зала ожидания пекинского аэропорта. Ты знаешь, где я сейчас стою? На втором этаже у витрины художественных изделий. Здесь никого нет, на меня смотрят лишь выставленные под стеклом безделушки. Помнишь? Во время нашего первого путешествия на самолете мы тоже поднялись сюда, на второй этаж, и долго любовались ими. Тебе больше всего пришелся по душе тонкой работы нарцисс в вазе, на нежных зеленых листочках которого сверкали капельки росы. Цветок был совсем как живой. Ты перегнулась посмотреть на цену и в страхе отшатнулась. Теперь, увы, я одна стою у этой витрины и передо мной такой же, только другого цвета, нарцисс. Я гляжу на него, и мне почему-то хочется плакать. Я вдруг подумала, что все прошло.

Помнишь, в самом начале твоего знакомства с Фу Цзяцзе, как-то раз у нас в общежитии он прочел пушкинские строки: «Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминанье прежних дней». Тогда эти строки привели меня в недоумение, и я спросила: «Неужели воспоминания о былых невзгодах тоже так элегичны?» Фу Цзяцзе лишь усмехнулся в ответ, наверное, заключив про себя, что я не понимаю стихов. Сегодня я вдруг поняла! Как пронзительно точны эти стихи, словно слепок с моих теперешних чувств, они написаны прямо для меня! Все прошедшее в самом деле дорого мне, и я с грустью перебираю его в своих воспоминаниях!

В ушах стоит шум, поднялся в воздух еще один самолет, не знаю, куда он держит путь. А через час и я ступлю на трап са-

молета и покину взрастившую меня родину. Я плачу, письмо промокло от слез, но некогда сменить листок бумаги, продолжу на этом!

Мне отчего-то так больно, я вдруг увидела, что сделала ошибку, мне не следовало уезжать. Мне жаль расставаться со всем, жаль! Жаль больницы, нашей операционной, жаль моего маленького стола в амбулатории. Часто я украдкой жаловалась, что заведующий отделением Сунь слишком крут, не прощает ни малейшего промаха. Я была бы счастлива выслушать его замечания. Каким суровым учителем был он для нас, без его выскательности мы не достигли бы сегодняшнего мастерства!

Опять раздался голос диктора, пожелавшего авиапассажирам счастливого пути. Счастье, возможно ли оно? На сердце гнетущая опустошенность. Я как воздушный шарик, гонимый по свету, где опущусь, куда занесет меня судьба? Что ждет меня в будущем? В душе тревога и страх. Да, страх! Приживемся ли мы на чужбине, в обществе, столь отличном от нашего? Можно ли не опасаться за наше будущее?

Лю будто замер в кресле. В суматохе перед дорогой ему было не до размышлений, да и его решение уехать казалось бесповоротным. Но вчера, уложив в чемодан последнюю вещь, он вдруг сказал: «Отныне мы сиротливые странники на чужбине». И погрузился в глубокое молчание, до сих пор не вымолвил ни слова. Я знаю, в глубине его сердца борются противоречивые чувства.

Дочь наша, Яя, была самой решительной сторонницей отъезда, горела таким нетерпением поскорей уехать, что я не раз одергивала ее. Но вот в эту минуту она стоит у стеклянных дверей зала ожидания, глядя на зеленое поле аэродрома, и на лице ее явно написано нежелание уезжать.

Помню, как ты спросила меня в тот вечер:

«А разве нельзя не ехать?»

Трудно в двух словах ответить тебе, объяснить, почему мы не можем не уехать. В последние несколько месяцев не было дня, чтобы мы с Лю не разбирали все за и против отъезда. Причин, заставивших нас принять это решение, много. Это

и будущее дочери, и перспективы Лю, и мои тоже. Но все это не успокоит внутренней боли, не рассеет сомнений в разумности нашего шага. Ведь Китай вступает в новую эпоху, и нет оснований убегать от миссии, возложенной на нас историей (а может быть, и нацией). Как говорили цзаофани, «вы выросли на крови и поте рабочих и крестьян, вам нельзя предавать их».

Я намного слабее тебя. И хотя на мою долю за это лихолетье выпало куда меньше испытаний, чем на твою, я не умела переносить их так же стойко, как ты. То и дело взрывалась от злокозненных ударов, от нескончаемого потока клеветы. И все не потому, что переживала больше тебя, нет, сдавали нервы. Мне даже приходило в голову, что смерть лучше этого унижительного прозябания! Только ради дочери я подавила в себе эту мысль. В те годы, когда мой муж сидел в тюрьме как «особо опасный», я даже представить себе не могла, что выдержу, выживу и своими глазами увижу победу над «бандой четырех».

Эти горести, разумеется, дело прошлого. Прав Фу Цзяцзе, «мрак отступил, впереди свет». Но, увы, фанатизм, возвращенный Линь Бяо и «бандой четырех» у целого поколения, не искоренить за короткий срок. Еще много воды утечет, пока политика ЦК коснется и нас. От застарелой ненависти трудно избавиться, людская молва страшна. Я боюсь прорываться памятью в прошлое, мне не хватает твоего мужества!

Помню, однажды во время кампании критики «белых специалистов», «недоросли», орудовавшие в лечебно-санитарных пунктах, повели эту критику персонально против нас с тобой. Когда мы выходили из больницы после проработки, я сказала: «Их не поймешь, то ратуют за повышение квалификации, то бьют за нее. В знак протеста не пойду больше на собрание». «Брось,— ответила ты.— Пусть собираются хоть сто раз, мне все равно. Операции-то, как ни крути, делать нам. Я приду домой и, как всегда, возьмусь за книги». «Тебя разнесли в пух и прах, возвели на тебя напраслину, неужто тебе не обидно?»— спросила я. И ты, усмехнувшись, ответила: «Я весь день так кручусь, что мне недосуг думать об этом!» Как я ува-

жала тебя тогда! Расставаясь, ты предупредила меня: «Смотри не проговорись обо всем Фу Цзяцзе. У него своих забот хватает».

И мы молча шли по улице. Твое лицо дышало спокойной уверенностью в себе. Никто не мог поколебать твоей внутренней убежденности. Я поняла тогда, какая нужна твердая воля, чтобы выстоять под градом ударов и идти в жизни своей дорогой. Обладай я хоть наполовину твоим мужеством и волей, я не сделала бы сегодняшнего выбора.

Прости меня! Только тебе я могу это сказать. Уезжая, я оставляю свое сердце здесь, с тобой, на моей любимой родине. Куда бы ни забросила меня судьба, мне не забыть ее благодеяний. Верь мне! Рано или поздно, через год или десять лет, как только Яя станет на ноги, а мы чего-то достигнем в медицине, мы непременно вернемся.

И, наконец, от всего сердца желаю тебе поскорей поправиться! После этой болезни ты должна научиться думать о себе. Нет-нет, я не учу тебя эгоизму, я всегда преклонялась перед твоим бескорытием. Просто я хочу, чтобы ты была здорова и чтобы китайская медицина могла гордиться новыми успехами такого выдающегося врача, как ты!

Прощай!

Твой друг Яфэнь

в спешке на аэродроме».

22

Через полтора месяца, когда здоровье Лу Вэньтин пошло на поправку, ей разрешили выписаться из больницы.

Она поправилась почти чудом, несмотря на свой ослабевший организм и внезапно обрушившийся на нее тяжелый недуг, несколько раз приводивший ее к краю смерти. Терапевты удивлялись и радовались такому исходу болезни.

В день выписки Фу Цзяцзе возбужденно суетился вокруг жены. Он помог ей натянуть шерстяные брюки, ватник, обвязал шею коричневым шарфом.

— Как дела дома?— спросила Лу.

— Все в порядке. Вчера из больницы послали человека помочь мне с уборкой.

Перед ее глазами тут же встала их комнатуха с книжными полками, задернутыми белой занавеской, будильником на подоконнике, письменным столом с тремя ящиками...

Ей, побывавшей между жизнью и смертью, собственное тело, даже в тяжелой одежде, казалось легким, почти невесомым. Но стоило Лу подняться, ноги ее подкосились и она чуть не упала. Всем телом навалившись на мужа, она уцепилась за его рукав и, придерживаясь другой рукой за стенку, сделала шаг вперед. Так — медленно, шаг за шагом — она вышла из палаты.

Останавливаясь то и дело, она шла по длинному коридору, где стояли, провожая ее глазами, директор больницы Чжао, заведующий глазным отделением Сунь, врачи из терапевтического и глазного отделений.

Несколько дней подряд шел дождь, холодный ветер завывал в голых ветвях деревьев. После дождя солнце светило особенно ярко, его прямые лучи заливали длинный коридор. Фу Цзяцзе, бережно поддерживая жену, шел вперед, навстречу солнцу и холодному ветру.

У самого выхода стояла машина медицинской помощи, вызванная по распоряжению директора Чжао.

Доктор Лу Вэньтин, опираясь на руку мужа — ей с трудом давался каждый шаг,— вышла на улицу.

Фэн Цицай

Крик
Повесть

Высокая женщина и ее муж-коротышка
Рассказ

冯
骥
才

ФЭН ЦЗИЦАЙ

родился в 1942 году в Тяньцзине.

Занимался журналистикой, историей.

Преподавал национальную живопись гохуа

и теорию литературы

в рабочем университете.

До сих пор выставляет свои работы

на художественных выставках.

Печатается с 1977 года.

Автор романа «Волшебный фонарь»,

повестей и рассказов.

Повесть Фэн Цицзя «Крик»

в 1981 году удостоена второй премии

журнала «Вэнь бао»

за лучшие повести 1977—1980 годов.

Советским читателям

Вместо предисловия к русскому изданию повести «Крик»

Дорогие далекие друзья!

По правде говоря, когда я писал эту маленькую книжку, я думал лишь о китайском читателе. Мне хотелось правдиво запечатлеть действительность определенного исторического периода, чтобы о ней не забыли. Если забыть о зле, оно может вновь появиться в другом обличье. Если помнить о красоте, красота будет вечно жить среди людей. Для тех, кто по-настоящему любит жизнь, прошлое — доброе или недоброе — всегда помогает строить будущее. Так я думаю о своей повести.

Но когда я узнал от Б. Л. Рифтина, что мою книжку, возможно, переведут на русский язык, я вновь задумался над ней, и мне очень захотелось, чтобы она встретилась с советскими читателями. Почему?

Может быть, потому, что первыми прочитанными мною иностранными произведениями были русские книги — рассказы Тургенева и «Повести Белкина» Пушкина. За ними последовали творения Гоголя, Лермонтова, Льва Толстого, Чехова, Куприна, Алексея Толстого, Горького и много, много других. Впечатление, которое их мастерство произвело на меня, неизгладимо. Кроме того, благодаря произведениям этих и других русских и советских художников слова я приобрел множество друзей в Советском Союзе, узнал о том, как они живут, что чувствуют, о чем мечтают, чему радуются и от чего страдают. Я отчетливо представил себе ваш многовековой, многотрудный и необычайный исторический путь, и во мне родилась искренняя, горячая любовь к великому советскому народу.

Я буду рад, если моя повесть поможет вам в какой-то мере понять нас. Мы довольно много знаем друг о друге, а если чего не знаем, то литература поможет нам восполнить эти пробелы.

Я хочу также поблагодарить переводчика книги В. Ф. Сорокина. Для людей, не владеющих иностранными языками, перевод — это словно мост или паром, соединяющий два острова, и без него не обойтись.

Желаю всем вам счастья!

Фэн Цзицуй

11.12.1982.

Крик

Пока явления, мешающие общественному прогрессу и отравляющие жизнь, глубоко не познаны и до конца не искоренены, пока из них не извлечен урок и остается возможность их повторения — до тех пор произведения, подобные этой повести, не могут быть бесполезными, и появление их неизбежно.

Автор

1

Ранней весной небо по-особенному прекрасно. Бескрайнее бледно-голубое пространство залито ослепительным солнечным блеском. Птицы взмывают ввысь, встречая весну, приближающуюся вместе со стаями диких гусей.

Часто ее дыхание смешивается с запахом тающего снега. Ведь поначалу она ступает по миру, еще скованному холодом. Но своей космической силой и неизбывной энергией она взламывает льды на реках, отогревает озябшую почву, распрямляет и пробуждает к жизни съезжившиеся от морозов живые существа, наполняет каждое открытое добру сердце мечтами и надеждами.

Весна — это не только надежды, не только новая жизнь, красота, устремленность к лучшему, расцвет природы, буйство красок. Весна говорит людям правдивые и искренние слова, и они своими загрубевшими от работы руками рисуют картины будущего, картины сладостной, счастливой, поэтичной, сверкающей жизни, в которой будут и дым сражений за правду, и нежные взгляды, и пленительные серенады.

Весна никогда не обманывает, она всегда приходит в пред-указанный срок и щедро, без утайки отдает людям свои богатства.

Как прекрасна весна!

Но до нее не было никакого дела сотрудникам института истории, которых собрали во дворе. Их было больше сотни, но ни один даже не поднял головы, чтобы полюбоваться весенней лазурью.

У них опять начинали хватать людей!

2

Два обстоятельства говорили о том, что предстоящее общее собрание сотрудников института будет носить экстраординарный характер.

Во-первых, на него явились все пятеро хронических больных и одиннадцать пенсионеров. На полученных ими повестках значилось: «Присутствие обязательно». Никто не посмел сослаться на объективные причины, и вот все они — кто согнувшись, кто скособочившись — сидели в заднем ряду.

Во-вторых, два сотрудника, находившихся в командировке в музее города Сиань, тоже сидели среди участников собрания: получив вчера утром срочную телеграмму, они меньше чем за сутки проделали неблизкий путь.

Председатель институтского ревкома Хэ — низкорослый, с загорелым до черноты невыразительным лицом — обеими руками поднял перед собой присланный из инстанций документ о немедленном развертывании очередной кампании и стал читать его, словно Священное писание, то и дело откашливаясь, запинаясь и путаясь в словах. К тому моменту, когда он кончил, в президиуме появился ответственный за политработу Цзя Дачжэнь, вернувшийся с экстренного совещания. Высокий и худющий, он стоял в модной тогда армейской фуражке цвета хаки, символизировавшей культурную революцию. В его строгом лице с выпирающими скулами было что-то пугающее. Он заговорил, как было принято, на высоких нотах, полными злобы словами. Речь свою он закончил так:

— Хотя мы провели немало кампаний, дело до конца не доведено. В нашей организации целая куча интеллигентов самого разного классового происхождения. Многие еще не

показали свое нутро, но немало и откровенных мерзавцев всякого калибра. У одних темное прошлое, другие продолжают вредить и сейчас — кто тайно, а кто и явно. Мы не имеем права смотреть на это сквозь пальцы, не можем сладко спать на мягких подушках! Попустительство врагу есть преступление перед революцией. Немало подонков уже раскрыло себя в ходе прежних кампаний: сейчас настало время рассчитаться с ними со всеми. Те же, кто затаился, пусть знают: мы их во что бы то ни стало вытащим на свет, даже если они зарылись на три аршина в землю! Нынешняя кампания будет производиться быстро, решительно и тщательно. Мы развернем мощное политическое наступление на классового врага. В то же время мы будем самым внимательным образом изучать каждого человека, вызывающего сомнения и подозрения. Надо еще раз разобраться и дать оценку людям с запятнанным прошлым. Мы исполнены решимости не дать ускользнуть ни одному врагу! Кампания будет вестись повсюду, мы натянем сети от неба до земли и разом накроем всех супостатов. Руководство заявило: «Кто достоин смерти — убивайте, кого надо посадить — сажайте, кого достаточно поставить под надзор — ставьте!» Мы должны немедленно приступить к действиям, чтобы не отстать от нового подъема классовой борьбы. Впереди большие разоблачения, большие перетряхивания, большая критика, большая борьба!

Было ясно: свирепый водоворот скоро закрутит все вокруг. Сразу станут иными жизнь людей, их образ мыслей, их отношение друг к другу. Казалось, сгустилась атмосфера вокруг и неожиданно запахло порохом.

3

Когда собрание закончилось, трое очкастых сотрудников сектора региональных исторических проблем вернулись в рабочую комнату. Заведующего, Чжао Чана, задержали, чтобы ознакомить с разработанным руководством института планом проведения кампании. Трое гуськом вошли в комнату, не проронив ни слова, расселись по местам и, как обычно, достали

из ящиков стола какие-то книги. Бог знает что они могли вычитать из них сейчас.

На старшего по возрасту научного сотрудника Цинь Цюаня было тяжело смотреть. Он так исхудал, что скулы его будто выпирали из потемневшей от времени кожаной сумки и вполне могли служить подпорками для его простеньких очков. Человек он был дотошный, неразговорчивый, солидный. Он обычно сидел в нарукавниках, сшитых из той же коричневой грубой ткани, что и сумка, в которой он таскал свои материалы. Он был больше похож на старого бухгалтера, осторожного и аккуратного. Долгие годы работы за столом ссутили его. Целыми днями он, изогнутый, как креветка, сидел над книгой и кружкой с кипятком, с пером в правой руке и сигаретой в левой. Продолговатый череп его был постоянно окружен струйками дыма, как вершина горы — облаками; порой дым надолго застревал в прядях его седеющих волос, и это производило сильное впечатление на окружающих. Он беспрестанно пил кипяток и бегал в уборную. Зная, что он глотает воду слишком шумно, и оберегая покой сослуживцев, Цинь обычно пил крошечными порциями. Но сегодня он явно забыл об осторожности, и вода в его гортани ниспадала с грохотом, словно стальной шар.

В пятидесятые годы он стал известен как правый элемент, и хотя позднее этот «колпак» был с него снят, он оставался единственным на весь институт человеком, на которого когда-либо ставилось клеймо «правого». След от этого клейма оказался таким глубоким, что никакими силами вытравить его не удавалось. Стоило начаться очередной кампании, как его объявляли типичным негативным примером и подвергали поношениям. Словом, он был, как говорят шутники, «старый спортсмен»*. И хотя он прошел через множество передышек и насмотрелся на своем веку более чем достаточно, все-таки на сердце у него было неспокойно. Он отчетливо представлял себе, что сулят ему грядущие дни.

* Игра слов: «юньдун» — кампания (политическая); «юньдунъюань» — спортсмен.

Другой сотрудник, белолицый толстяк по имени Чжан Динчэнь, сидел, уставившись в пространство. Он только что отметил свое пятидесятилетие. Круглоголовый, с тонкой и блестящей кожей, в очках с изящной металлической оправой, одетый в опрятный костюм из приличной ткани, он был немножко гурманом и не курил. Улыбаясь, он каждый раз показывал ряд отлично вычищенных, почти фарфоровых зубов. Он прекрасно знал древний язык, много работал по истории Цинской династии. Но его недолюбливали за стремление угождать собеседникам, вечные улыбочки, напоминавшие манеры приказчика из лавки.

Когда-то он учился в Яньцзинском университете*, а по окончании его зарабатывал на жизнь тем, что держал небольшую — семьсот—восемьсот томов — книжную лавку. Торговые дела оставляли время для чтения, и он одновременно накапливал знания и деньги. Позднее, поддавшись уговорам дяди, он вложил небольшой капитал в его маленькую торговую фирму. Дядя оказался неважным предпринимателем, фирма была на грани краха, но Чжан счел неудобным требовать свои деньги и списал их по статье убытков. Но вот в 1956 году дядина фирма вместе со всеми другими была превращена в частно-государственное предприятие, и вкладчики, включая Чжана, стали получать небольшие проценты. За это в начальный период культурной революции его объявили капиталистом, били, таскали по улицам. И сейчас его классовая принадлежность не была окончательно определена. Кто знает, куда понесет эту оторвавшуюся лодку надвигающаяся буря?

Из этой троицы мог считать себя счастливым лишь У Чжунъи, носивший очки с толстыми стеклами в роговой оправе.

Его биография представляла собой ничем не запятанный лист белой бумаги, слова и поступки были осмотрительны и не вызывали нареканий. Человек мягкий и миролюбивый, он старался ни во что не ввязываться. Некоторое время назад

* Яньцзинский университет существовал в Бэйпине (Пекине) в 30—40-е годы и финансировался американцами.

в институте образовались две фракции, которые сражались между собой не на жизнь, а на смерть. Он же спокойно прогуливался в сторонке, всегда вовремя являлся на работу, хотя делать было нечего, и не нарушал установленных начальством порядков. Каждая из фракций переманивала его на свою сторону, но он лишь улыбался. Скоро обе фракции отступились — его сочли трусливым и никчемным, годным разве лишь для увеличения числа сторонников фракции.

Но в перерывах между кампаниями, когда нужно было вновь заниматься делом, на него устремлялись взоры всего института. Он был сравнительно молод (тридцать с небольшим), неплохо подготовлен, работал добросовестно и упорно, то и дело выдавая научную продукцию. Его основной темой была история региональных крестьянских восстаний, которая всегда привлекала внимание, а потому привлекал внимание и он сам. Его успехи расценивались как доказательство успешной работы дирекции института и его непосредственного начальства. Все считали, что именно поэтому ему делали разные поблажки и не трогали во время кампаний... И стоило начать заварушке, как люди, волновавшиеся из-за пятен в своей биографии, начинали смотреть на него с белой, а то и с черной завистью. Как будто во время наводнения они стояли на голой равнине, а он спокойно и безмятежно пребывал на возвышенности, под защитой каменной стены.

Но ведь все знают, что это было за время. Куда большие заслуги и те часто не помогали, ничтожный промах мог навлечь неожиданную беду. Приходилось на каждом шагу думать о возможных ошибках и стараться заранее уберечь себя от последствий. В этой зловещей атмосфере даже у людей, которым вроде бы нечего было опасаться, могли ни с того ни с сего возникать сомнения и опасения, начинало колотиться сердце...

Незадолго до конца рабочего дня в комнату вошел заведующий сектором и вопреки своей обычной мягкой манере сурово объявил:

— Ревком принял решение с завтрашнего дня временно

приостановить обычные занятия и целиком переключиться на ведение кампании. Командировки отменяются, медицинские справки считаются действительными лишь при наличии печати ревкома. Первая неделя будет посвящена большим разоблачениям и большому перетряхиванию. Вернувшись домой, каждый должен сосредоточиться и припомнить, кто из сослуживцев допускал ошибки в словах и действиях, у кого были сомнительные связи. Это и будет подготовкой к взаимным обличениям...

Чжао Чан замолчал. Сотрудники собрали вещи и покинули комнату без обычных шуток, даже не попрощавшись. Лица их были бесстрастны, они глядели прямо перед собой — видимо, уже начали опасаться друг друга.

4

По дороге домой У Чжунъи владели смешанные чувства. Были досада и раздражение из-за того, что вот опять связывают руки, прекращают многообещающие научные поиски и заставляют сидеть на бесконечных митингах и собраниях, выслушивать разоблачения и обличения. Но было и смутное ощущение тревоги. Он успокаивал себя, что всегда соблюдал правила, не делал ошибок, так что рядом с Цинь Цюанем и Чжан Динчэнем может считать себя баловнем судьбы. В такие времена покой — высшее благо!

«Мое дело сторона! По вечерам буду продолжать свои обычные занятия. Завтра надо будет забрать домой книги и статьи, которые сейчас лежат в кабинете. И нечего больше думать об этом».

Стало легче на душе. Он распахнул дверь, прошел по темному коридору и поднялся по лестнице — его комната помещалась на втором этаже. Заслышав его шаги, соседка с первого этажа тетушка Ян — добродушная и туповатая толстушка из Шаньдуна — вышла из комнаты и окликнула его:

— Товарищ У, вам письмо. Вот, пожалуйста!

— Письмо? А, от старшего брата. Премного благодарен! — он сделал полупоклон и с улыбкой взял конверт.

— Заказное! Почтальон сказал, что он носит письма два раза в день, но вы всегда на работе, так что я уж поставила вместо вас печатку. Вдруг что-то срочное, запоздает...

— Наверное, фотографии племянника. Спасибо за хлопоты!

Он вошел в комнату, надорвал конверт, но в нем лежали не фото, а два листка почтовой бумаги, исписанных иероглифами. С чего бы это посылать заказным, подумалось ему. Наверное, есть особая причина, ведь раньше брат так никогда не делал... Как только его маленькие тусклые глазки прочли первую фразу: «Я должен сообщить тебе одну вещь, только ты не пугайся», в них появился тревожный блеск, как в маленькой лампочке при внезапном повышении напряжения. Пока его взор пугливо перескакивал с одной строки письма на другую, он вдруг заметил, что дверь в комнату открыта. За ней во мраке белело нечто похожее на человеческое лицо. Он бросился к двери, плотно закрыл ее и запер на ключ. Стоя посреди комнаты, он еще раз внимательно прочел письмо, и ему показалось, будто зловещая комета из глуби небес мчится, целясь ему в голову; будто произошло землетрясение, и он полетел в тартарары вместе с полом и потолком. Он не трогался с места, но мысли его уже были далеко.

5

Он отчетливо помнил события, круто изменившие его судьбу. Лет двенадцать тому назад он учился на последнем курсе истфака университета. Вместе с ассистентом кафедры и двумя однокурсниками он ездил в один не слишком отдаленный уезд собирать для дипломной работы материалы о крестьянском восстании, случившемся сто лет назад. Там до них дошли вести о том, что в университете полным ходом идут «расцвет» и «соперничество»*, все бурлит, обсуждаются самые разные мнения. Вскоре пришло указание как можно быстрее вернуться на факультет и принять участие в кампании. Но их работа была в самом разгаре, бросать ее на полдороге было жал-

* Сокращенное обозначение выдвинутого в 1956 году лозунга «пусть расцветают все цветы, пусть соперничают все ученые».

ко, и лишь после четвертого напоминания они наскоро подытожили сделанное и вернулись в город.

Поезд пришел поздно, так что они решили не отправляться сразу в общежитие и разъехались по домам.

В то время мать У еще здравствовала, брат женился только год назад, и в семье жизнь была ключом. Брат был человек легко возбудимый, полный энергии. Рослый, розовощекий, с иссиня-черными волосами и выразительными сверкающими глазами, он был разговорчив и любил показать себя. Говорил он громко, подчеркивал каждое слово жестами — как будто читал лекцию. Еще учась в химическом институте, он был принят в партию, а по окончании как наиболее отличившийся оставлен на преподавательскую работу. Тем не менее создавалось впечатление, что ему больше подходило бы стать актером, а не возиться целыми днями с грифельной доской, мелом, колбами и ретортами. Он любил играть в хоккей, плавать, петь, а больше всего — участвовать в драматических представлениях. Когда-то он был руководителем студенческого драмкружка, сочинял забавные и оригинальные скетчи и явно был не лишен таланта. Став преподавателем, он продолжал быть почетным председателем кружка и порой сам выступал в спектаклях. И в том, что химический институт неизменно занимал первое место на конкурсах студенческой самодеятельности, была его немалая заслуга.

Невестка У Чжунъи, Хань Ци, была видной актрисой профессионального драмтеатра, исполняла главные роли в «Заколке-фениксе», «Восходе солнца» и «Грозе»*. Без грима она казалась еще более красивой, чем на сцене. Обаятельное лицо, тонкие руки, изящная, словно выточенная, соразмерная фигура, естественная манера поведения, свойственная подлинной актрисе, мелодичный и волнующий голос, мягкий и открытый характер. Она познакомилась с братом на конкурсе самодеятельности. Ее до слез тронуло дарование этого непрофессионала. Сверкающие прозрачные слезинки стали семенами

* Известные произведения китайской драматургии 30—40-х гг.

чистой, непорочной любви. Они дали ростки, затем листья, цветы и, наконец, сладкие плоды.

В то время У Чжунъи был таким же задорным и цельным, как брат, хотя и несколько слабохарактерным. Они были похожи на кряжистый дуб и стройную березку, которых весна одинаково нарядила в пышное желтовато-зеленое одеяние. Еще совсем юный (над верхней губой едва пробивался пушок), ни разу не покидавший материнского гнезда, он представлял себе будущее в самых радужных красках. Легко возбуждавшийся, он интересовался всем вокруг, впитывал впечатления, задавал вопросы, верил собственным умозаключениям и тому, что окружающие так же искренни, как он сам, а своей откровенностью в отношениях с людьми гордился... Да ведь в те времена жизнь людей и всего общества действительно гордо шла по восходящей линии.

Что сказать о его матери? Наверное, у большинства китайцев была такая же благоразумная, добрая, трудолюбивая мать. Рано похоронившая мужа, она в искренности, прямоте и счастье детей видела собственное счастье. Ей хотелось лишь, чтобы и Чжунъи нашел себе такую же хорошую жену, как его невестка.

Вот в какой дом приехал в тот вечер Чжунъи. Брат устроил в его честь маленький пир. Радостный смех витал над запахами блюд, умело приготовленных невесткой. Во время общего веселого разговора речь зашла и о кампании «расцвета и соперничества», о которой Чжунъи знал еще очень мало. Брат, раскрасневшись от выпитого вина, воскликнул: «После ужина пойдем с тобой в одно место. Там ты сам все поймешь!»

И брат повел его в то место.

Оно оказалось домом Чэнь Найчжи, однокашника брата, где он продолжал часто бывать. Так же часто приходили туда Гун Юнь, Тай Шань, Хэ Юйся. Все они дружили между собой, любили книги, искусство и философию. И вот они решили образовать «Общество любителей чтения», чтобы время от времени обмениваться мыслями по поводу прочитанных новых книг и помогать духовному росту друг друга. У этих молодых

людей и девушек в характерах было много общего — открытость, горячность, неудержимая, как приливная волна, речь... Если расходились во мнениях, спорили так, что щеки и уши горели, но это не мешало их дружбе.

Не успели братья войти, как до них донеслись громкие взволнованные голоса. Все, кроме Тай Шаня, были уже в сборе. О чем-то спорили, перебивали друг друга; лица пылали, глаза сверкали. Видно, их увлекла небывалая прежде в Китае бурлящая волна демократии.

Появление братьев обрадовало собравшихся. Хэ Юйся, хорошенькая студенточка института искусств, первой закричала: «Привет, привет! Пожаловали великий актер и крупный историк!» Она зааплодировала белоснежными ладошками, раскачиваясь так, что черные косы запрыгали по ее плечам. Чэнь Найчжи встал в позу — поднял казавшуюся чуть-чуть великоватой голову, простер чуть-чуть коротковатые руки — и привычным к выступлениям со сцены звучным голосом прочел только что сочиненные строки:

Друзья, чтоб жизнь еще прекрасней стала,
Давайте вместе песню запоем!

После этого спор продолжался уже с участием обоих братьев. Гун Юнь заявила: «Если не покончить с бюрократизмом, государственственный аппарат может заржаветь, застопориться и в конце концов сломаться!» Свои слова она подчеркивала энергичными движениями головы; при этом прядь волос то и дело спадала на лоб, и она нетерпеливо отбрасывала ее назад.

Хэ Юйся больше интересовали вопросы литературы и искусства. Она говорила долго, с бесконечными повторениями, но никак не могла четко сформулировать бродившие в ней мысли и от досады чуть не расплакалась. Брат Чжуньи усмехнулся: «Ты просто хочешь сказать, что писатели и художники должны выражать свои подлинные ощущения и результаты своих самостоятельных размышлений, а не служить простыми рупорами пропаганды текущей политики, иначе литература и искусство превратятся бог знает во что. Пра-

вильно я тебя понял, Хэ?»

Девушке представилось, будто она изо всех сил карабкалась по склону горы и никак не могла преодолеть крутизну, а У-старший легко поднял ее и поставил на вершину. «Верно, верно! — закричала она. — Ты у нас молодчина! А то стала бы я тебя так радостно встречать!» От радости она пару раз подпрыгнула в кресле и продолжала: «Во многих творческих организациях руководители не только не понимают, но прямо-таки не любят литературу и искусство, умеют только отдавать команды. Вот в нашем институте замсекретаря парткома — дальтоник. Сверкающие всеми красками картины кажутся ему черно-белыми. И все-таки он то и дело выступает с замечаниями по нашим работам и требует, чтобы мы их непременно учитывали. Куда же это годится? Завтра я еще поспорю с ним. Кстати, У, ты не мог бы завтра зайти к нам в институт?»

Тут заговорил Чэнь Найчжи: «А почему это наш историк не открывает рта? Еще не известно, кто из У толковее — старший или младший. Раз он занимается историей, он обязан глубже нас вникать в проблемы».

Чжунъи умоляюще поднял руки и смущенно засмеялся, отказываясь от предложенной чести. На самом же деле он уже был захвачен их энтузиазмом, сердце уже билось, таившиеся в нем слова неудержимо рвались на волю и вот-вот могли выскользнуть из неплотно сжатых губ. Но вмешался брат: «Он только что вернулся в город, в университетских дискуссиях не участвовал, не знает, что это за штука!» «Подожди!» — перебил его Чэнь Найчжи, снова встал в позу декламатора и прочел несколько строк — по-видимому, тоже собственного сочинения:

Ты кто — хозяин государства или раб?

Такой застенчивый — ни сделать, ни сказать не смеешь?

Хозяин должен быть хозяином во всем,

Он на молчанье права не имеет.

Открой же рот и говори

Все, что сказать ты хочешь! Говори!

Произнеся последнюю строчку, он застыл в позе Пушкина на одном из памятников: устремил ввысь руку и подался вперед. Свет падал сбоку, и его тень на стене выглядела довольно-таки красиво.

Этот оригинальный номер вызвал общий смех, а Хэ Юйся сказала: «Сегодня наш Чэнь в ударе. Сколько раз он читал стихи со сцены, а такого успеха не имел».

Когда веселье улеглось, кто-то попросил У Чжуньи поделиться своими мыслями, и тот торопливо, словно боясь, что ему не дадут кончить, стал говорить о государственном устройстве Китая. Он полагал, что, поскольку в стране еще не создана строго научная, нормально функционирующая система государственных институтов, имеется почва для возникновения неравенства и других отрицательных явлений, возникают злоупотребления, душится демократия. Если управление государством сосредоточивается в руках отдельных лиц, может возникнуть единоличная власть, а диктатура класса может превратиться в тиранию личности... Как ему помнилось, в тот вечер он привел множество примеров из китайской и всемирной истории, что делало его аргументацию точной и неоспоримой. Остроту же и важность поднятого им вопроса он подтверждал фактами из окружающей жизни. Все присутствовавшие — в том числе и брат — поразились проницательности, глубине и оригинальности суждений юного студента. Он видел, как из ярко освещенных и затененных углов комнаты к нему устремлялись изумленные и восхищенные взгляды. Он и сам был до глубины души взволнован, слушая как бы со стороны длинные пассажи и точные формулировки, исходившие из его уст. Особую, тайную радость доставляло ему то, что Хэ Юйся не спускала с него своих прекрасных глаз. Оратору ведь тоже нужно вдохновение: в минуту подъема не подготовленная заранее речь, бывает, звучит необычайно убедительно. Как будто мысли, вынашивавшиеся в течение многих дней, вдруг засверкали огненным фейерверком. Он продолжал говорить, а сам думал: завтра надо будет выступить с такой же речью на университетском митинге, чтоб еще больше людей узнали

мои мысли и чтоб на множестве лиц я прочел радость и одобрение...

На следующий день он отправился в университет, бурливший, как кипящий котел. Во всех аудиториях произносились речи, шли споры. Коридоры и спортивная площадка были оклеены листами дацзыбао. Они свешивались, как выстиранные простыни, с веревок, протянутых между корпусами. Чтобы пройти, нужно было приподнять листы, и они громко шуршали. Глаза и уши были не в состоянии воспринять всю разнородность мнений, выразившихся устно и письменно. Это производило впечатление.

Группа, в которой учился Чжуньи, проводила дискуссию на тему: «Могут ли неспециалисты руководить специалистами». Студенты сдвинули окрашенные в темно-зеленый цвет столики в центр аудитории, образовав из них большой квадрат, а сами расселись вокруг. Чжуньи сел рядом с тридцатью однокашниками. Ему не терпелось повторить свое вчерашнее блестящее выступление. Но сторонники двух противоположных мнений так отчаянно спорили, кричали, перебивали друг друга, что ему не удавалось вставить и полслова. В сердце его стучал молоточек: он в волнении предвкушал эффект от своих высказываний, но говорить-то ему не давали. Совсем уж было раскрыл рот, но кто-то закричал: «Нет, позвольте мне!» В другой раз он поднялся со стула, но сидевший рядом однокашник опустил руку на его плечо и усадил на место: «Куда спешишь? Не успел приехать, а лезешь... Посиди послушай!» И тут же сам принялся излагать свои соображения насчет специалистов и неспециалистов.

Он разделил руководящих работников на три категории: специалистов, неспециалистов и полуспециалистов. Специалисты знают дело и в состоянии вести его хорошо; естественно, они должны находиться на руководящих постах. Полуспециалисты наряду с руководящей работой обязаны повышать свои знания. Неспециалистов же нужно переводить на более привычные для них участки работы, где они могли бы руководить по-настоящему. Ведь профан в одной области может

оказаться знатоком в другой. Но сугубо специальными областями должны руководить люди сведущие, иначе неминуемы излишние трудности и даже провалы в работе...

У этой точки зрения сразу же нашлись противники. Во главе их оказался председатель студенческого союза, обвинивший оратора в том, что тот в скрытой форме выступает против тезиса «партия руководит всем». Поднялся большой шум. Лишь угроза остаться без ужина прекратила споры.

Чжунъи был очень разочарован тем, что не смог выступить. Лежа на койке, он еще несколько раз повторил про себя тезисы речи и решил: либо ему завтра предоставят слово, либо он напишет двадцать четыре больших листа дацзыбао.

Но назавтра погода внезапно изменилась, нежданно-негаданно началась кампания вылавливания правых элементов. В их число попала большая группа тех, кто еще вчера ходил с гордо поднятой головой, кто блистал на трибунах, произнося горячие речи. Сегодня они сидели на скамьях подсудимых. Методы убеждения и аргументации были сданы в архив, вместо разногласия суждений слышались лишь осуждающие лозунги. Словно после решающей битвы остались солдаты с ружьями — с одной стороны и безоружные пленные — с другой.

Брат Чжунъи, Чэнь Найчжи, Гун Юнь и Хэ Юйся были зачислены в правые — они успели обнародовать в своих организациях мнения, высказанные накануне вечером. Брат был исключен из партии, Чэнь и Хэ лишили права носить звание комсомольцев. Чэнь Найчжи пересказал в своем коллективе то, что Чжунъи говорил о государственном устройстве. Видимо, ему очень хотелось поразить аудиторию, не обращавшую доселе внимания на его стихи, поэтому он заявил, что пришел к этим выводам самостоятельно. Тщеславие и погубило его. Он мог бы снять с себя часть вины, назвав источник, откуда почерпнул эти мысли, но повел себя благородно и не сделал этого. Брат, Гун и Хэ не встречались друг с другом, но и не сговариваясь, они умолчали об «Обществе любителей чтения» и о том последнем вечере, на котором пылали искренние чувства и мысли. Так беда обошла Чжунъи стороной.

Затем все эти люди были сосланы — кто на север, кто на юг — и исчезли из виду. Брата отправили в исправительно-трудовой комбинат на севере, недалеко от границы, где он работал на лесоповале и добыче камня. Престарелая мать не вынесла неожиданного тяжелого удара и умерла с горя. Спустя два года брат, который беспокоился о будущем жены и детей и потому трудился особенно старательно, отличился во время тушения пожара (при этом ему обожгло половину лица). За это с него сняли колпак правого, но оставили при комбинате, так что он стал по существу таким же узником, но с гражданскими правами. Тогда к нему отправилась жена с двумя ребятишками, чтобы отогреть это одинокое сердце, заброшенное в холодные края...

Чжуньи хорошо помнил, как он провожал невестку с племянниками. В тот день Хань Ци надела сильно поношенную синюю форменную куртку, откинула назад волосы и перевязала их синим в белый горошек платочком. Лицо ее было печальным. Когда случилась беда с мужем, пострадала и она. Из актрис ее перевели в гримерши, и с той поры она подрисовывала брови и поддурмянивала щеки исполнительницам, далеко уступавшим ей в мастерстве. Приходилось сносить и несправедливости, и холодность окружающих. Очень быстро увяли и ее красота, и изящество, на лбу и вокруг глаз образовались морщины. Некоторое время ей приходилось одной нести все расходы по дому — муж не имел никаких заработков, свекровь болела, дети были совсем маленькими. Она молча, не жалуясь, сносила все невзгоды. Когда свекровь умерла, Хань Ци должна была еще помогать малоприспособленному к жизни Чжуньи. Он часто ощущал теплую, почти материнскую заботу со стороны невестки, которая была старше его всего на несколько лет, но ни разу не видел слез слабости на ее лице.

...Платформа. Невестка стоит перед ним, не говорит ни слова, лицо такое, что тяжело смотреть. Она то и дело покусывает губы, от этого подрагивает подбородок. Чжуньи хочет произнести слова утешения, но она жестом просит его молчать. Как будто, если заговорить о том, что на сердце, разобьется

некий сосуд и вся горечь выльется наружу. Так они и стояли, пока не прозвенел колокол, не прогудел паровоз. Только тогда Чжунъи услышал тихий, дрожащий голос: «Не забудь, выстиранный ватный жилет лежит в комод!»

Колеса начинают вращаться. В вагонное окно высовываются опечаленные расставанием лица племянников. При виде этих мордашек сжимается сердце; но почему же невестка не хочет выглянуть и попрощаться с ним? Чжунъи догоняет поезд, глядит поверх заплаканных племянников и видит невестку. Та сидит спиной к окну, обеими руками закрыв лицо. Плача не слышно, видно лишь, как дергается синий в белый горошек платок. Чжунъи в первый и последний раз видит невестку, не скрывающую своих страданий, но этого достаточно, чтобы понять, как много горя накопилось за эти годы у нее на душе...

Какие последствия может иметь одна-единственная ошибка? Он боялся думать о случившемся, он сам был в половине шага от смертельной опасности. При любой большой катастрофе кто-нибудь да уцелеет. Вот он и оказался таким счастливым. Ведь как он рвался выступить на том собрании группы, но слава богу, ему помогли — не дали времени сказать слово. А к чему могли привести его высказывания, видно на примере Чэнь Найчжи. Произнеси Чжунъи тогда хотя бы одну — всего лишь одну — фразу, и его судьба ничем бы не отличалась теперь от участи брата. Стоит вспомнить того однокашника, который силком усадил его на место, когда слова уже срывались с его губ,— того, что говорил о трех типах руководителей. Так вот, этот студент стал его «тисыгум»*. На одном из «митингов борьбы» его объявили арестованным, надели наручники — и больше его никто не видел.

Тяжелый молот жизни не раздробил Чжунъи в порошок, но изменил его форму. Он стал другим человеком: боязливым, сдержанным, молчаливым, недоверчивым; он почти никогда не говорил откровенно, редко высказывался о жизни и людях,

* Тисыгуй — по старинным представлениям человек, который нарочно или по стечению обстоятельств умер «вместо» другого человека, как бы приняв на себя удар судьбы.

старался не высовываться. Постепенно сознательное стремление стало второй натурой. Как человек, долгое время лишенный собеседников, почти разучается говорить, так и он мало-помалу превратился в слабовольного, скучноватого, без живинки человека, без собственных взглядов и принципов. Его можно было сравнить с зеленым плодом, который опалило дыханием губительного суховея,— не успев созреть, он начал желтеть и сохнуть. И внешность у него была соответствующая: худое морщинистое лицо, вызывавшее в памяти кусок перестоявшего теста, маленькая, уже начавшая лысеть голова на тонкой шее... Единственное, что у него сверкало, так это металлическая оправа очков. Сидя рядом со своим сослуживцем, внушительным с виду Чжао Чаном, он имел жалкий вид оципанного воробья.

После окончания университета из-за дела брата его отправили рядовым преподавателем в среднюю школу. Позднее институту истории понадобился квалифицированный сотрудник по истории крестьянских восстаний в новое время. Поскольку к тому времени с брата уже «сняли колпак», Чжуньи рекомендовали на это место. Скоро всему институту он стал известен как человек боязливый, но честный.

Все эти годы он жил в одиночестве. Иные добросердечные сослуживцы знакомили его с девушками. Девушкам в мужчинах нравится честность, но не нравятся слабохарактерность, вялость, отсутствие собственного мнения. После нескольких встреч партнерши отказывались от него. Лишь недавно он, можно сказать, завел подругу — рекомендованную общими знакомыми сотрудницу библиотеки, старую деву лет тридцати пяти, с заурядной внешностью, очень порядочную, суховатую, большую любительницу чтения. Из полутора десятков попыток Чжуньи завязать знакомство эта оказалась первой удачной — девушка не только не отвергла его, но и испытывала к нему явную симпатию. Сослуживцы подавали советы, подбадривали его, старались довести ухаживание до благополучного финала. Но когда ему рекомендовали изменить свой характер, он лишь посмеивался: он не мог, да и не хотел переделывать себя.

Ведь его жизненная философия, основанная на логике жизни, нередко обеспечивала ему спокойное существование. За последние годы, когда разбушевались волны культурной революции, многие из сотрудников института ввязывались в бучу: они разоблачали начальство, создавали боевые отряды, схватывались друг с другом, конфисковывали имущество, пускали в ход оружие... Ни один из них добром не кончил, каждый пожал плоды своих стараний: разоблачители сами оказывались разоблаченными, конфисковывавшие чужое имущество лишались собственного. А он? В дни невиданной смуты он находил в институте пустую комнату и выписывал из трудов классиков — единственного, что не попало под запрет,— все изречения, имеющие отношение к проблемам новой истории. Да, он поступал правильно! Другие то и дело сводили между собой счеты, его же никто не трогал. Иные, пострадав от своих противников, задним числом жалели, что с самого начала не последовали примеру этого робкого, ничем не примечательного человека.

И вот теперь письмо брата оповестило его о том, что он не принадлежит к числу счастливых.

Кампания уже развернулась по всей стране, и брат каким-то образом узнал, что Чэнь Найчжи из-за нескольких неосторожных слов сделался главной мишенью разбирательства и допросов. Вновь поднято старое дело. Брат опасался, что Чэнь Найчжи не выдержит оказываемого на него давления и расскажет об истинном авторе тех рассуждений, за которые он был осужден. А тогда — тогда беда обрушится на голову Чжуньи.

Брат писал, что в то время Чэнь Найчжи не выдал его из благородства и чувства дружбы. Но прошло более десяти лет, бывшие друзья ни разу не виделись, чувства могли ослабеть, люди измениться. Кто знает, каков сейчас Чэнь? Рассказывают же, когда Гун Юнь зачислили в правые, ее муж без колебаний последовал за ней и делил с женой все невзгоды. А в прошлом году, когда жизнь внешне была спокойной, но по-прежнему томительной, когда он отчаялся увидеть хотя бы проблеск надежды на лучшее, когда устал без конца брести

по мокрой грязи, он подал на развод и покинул Гун Юнь. Горит ли в душе Чэнь Найчжи прежний огонь? В душе самого Чжуньи огонь давно погас, и он не верил, что Чэнь Найчжи, перенесший невообразимые лишения, мог остаться прежним.

Случившаяся в пятидесятые годы беда, как бумеранг, с помощью которого австралийские аборигены охотятся на водоплавающую птицу, описав кривую длиной в десяток лет, теперь неслась, блестя на солнце и целясь прямо ему в лицо.

6

Бледный свет раннего утра прогнал лаково-черную тьму, всю ночь застилавшую окно. Постепенно стали проступать смутные очертания находившихся в комнате предметов. Ранней весной ночи бывают морозными, и холод словно проникал в кости. Огонь в переносной печурке погас еще в первой половине ночи, какое-то тепло оставалось лишь внутри самой печки. С нижнего этажа доносился храп тетушки Ян — казалось, там работают кузнечные мехи. Этот храп преследовал У Чжуньи всю ночь, но теперь, в час сладкого предутреннего сна, он звучал особенно мощно.

Он целую ночь просидел за столом, сочиняя ответ на письмо брата. И все время ему то и дело приходили на ум разные мысли о надвигающейся на него беде. В голове возникали все новые догадки, расчеты, соображения, которые заставляли его отбрасывать один за другим уже готовые варианты ответа. То он считал необходимым поделиться с братом всеми сокровенными мыслями, то начинал бояться, что такое письмо, попав в чужие руки, навлечет на него несчастье, и переходил на эзопов язык. То заявлял, что, ежели Чэнь Найчжи и выдаст его, он будет отпираться, и просил брата подтвердить, будто он не произносил инкриминируемых ему слов. Потом ему казалось, что этот метод ненадежен — ведь в разговоре участвовали еще Гун Юнь и Хэ Юйся. Если кто-нибудь из двоих даст показания против него, ему несдобровать.

В результате к утру весь стол был завален скомканными листками бумаги.

Он так и не нашел дырки в сети, через которую можно было бы ускользнуть, оставалось лишь корить себя за то, что десять с лишним лет назад распустил язык. Вконец расстроенный, он написал брату: «Что ж, я покоряюсь воле судьбы». Зато невестке он адресовал более подробное послание:

«Невестушка! Брат пишет: ты так волнуешься из-за меня, что уже две ночи не спала. И я, и брат виноваты перед тобой. Я отвратителен сам себе. А ведь, говоря по правде, мы с ним вовсе не отпетые негодяи. Если бы не партия, не новый Китай, мы оба вряд ли попали бы в университет. Наш отец барахтался на дне старого общества и рано умер от трудов и болезней. Как же мы можем ненавидеть партию и новый строй? Может быть, мне не следовало произносить тех слов потому, что их могли использовать плохие люди? Значит, вся беда в том, что мы были слишком молоды, неопытны, наивны! Но все-таки ты не волнуйся заранее сверх меры. Чэнь не обязательно назовет мое имя, ведь это ни в какой степени не облегчит его участи. Напротив, ему еще добавят за то, что с самого начала укрывал меня. Я умоляю тебя, успокойся! В течение стольких лет ты относилась ко мне как к меньшому братишке. Когда я думаю о том, что ты беспокоишься за меня, волнуешься, дрожишь за мою судьбу, мне становится еще тяжелее на душе...»

И тут несколько слезинок скатились сначала по стеклам его очков, затем по щекам и упали на бумагу.

На самом деле, невестка относилась к нему нежнее, чем родная сестра. Ей самой жилось очень трудно, но каждый раз, приезжая навещать своих родных, она привозила ему большие пакеты всего того, что производит земля Дунбэя: соевых бобов, древесных и белых грибов... И каждый раз она тратила по три дня на то, чтобы навести порядок в его донельзя запущенном домашнем хозяйстве. Она не уезжала до тех пор, пока все не было разложено по полочкам, грязное постельное белье выстирано, рваные рубашки и носки заштопаны. Думая о невестке, Чжунъян еще сильнее ощутил свою холостяцкую неприкаянность. Некому пожаловаться, не на кого опе-

реться, никто не поймет твоей печали, никто не разделит твоих страхов и тревог. Дело обстоит яснее ясного: если грянет беда, все погибло — не только профессия и должность, но и недавно приобретенная приятельница. А ведь он лишь позавчера предложил ей, полный счастливых ожиданий, официально стать друзьями. И она обещала сегодня вечером дать ответ...

В шесть сорок он собрал со стола все черновики и сжег их в печурке вместе с письмом брата. Спеша и волнуясь, он перемазал клейстером все свое ответное послание, прежде чем заклеил конверт и прилепил марки. После этого он прополоскал рот, умылся, проглотил завтрак и приготовился идти на работу. Неизбывное чувство страха, мешанина из догадок и предположений и тяжелая усталость, вызванная бессонной ночью, слились в голове его в один тяжелый ком. Он долго бессмысленно кружился по комнате с умывальным тазиком в руках — то ставил его на стол, то убирал обратно на полку; потом он зачем-то обтер полотенцем мыло, вместо чая выпил горячей воды для полоскания, откусил немного от паровой пампушки и положил ее в карман куртки... Наконец, он рассовал по карманам все, что обычно носил с собой, и отправился в институт. В коридоре он остановился и пощупал плотно набитый верхний карман куртки, проверяя, не забыл ли письмо.

Он вышел из дома. Дойдя до второго перекрестка, он направился к стоящей у края тротуара круглой темно-зеленой тумбе — почтовому ящику. За три шага до него он огляделся кругом, чтобы удостовериться в отсутствии соглядатаев. То был небольшой, очень узкий переулок вдали от главной магистрали, где даже в часы пик почти не бывало прохожих. Чжунъи увидел лишь игравшего неподалеку мальчугана в полувоенном пальтишке цвета хаки, на груди его был большой значок с портретом «кормчего». Навстречу ему, метрах в тридцати — сорока, ковыляла старушка с плетеной корзиной для овощей, но в его сторону она не глядела. Мимо пронеслось несколько человек на велосипедах, спешивших на работу. Посередине мостовой несколько кур гонялись друг за дружкой,

а петух с важным и несколько загадочным видом вышагивал впереди, поклевывая каких-то червячков... Успокоенный, Чжунъи вытащил то, что лежало в верхнем кармане куртки, и поднес руку к прорези в ящике. Но в последний момент рука замерла в воздухе: он понял, что собирается опустить в ящик не конверт, а красную книжечку — свое служебное удостоверение. Какое счастье, что он все-таки удержался, а то как бы он объяснил свой поступок работникам почты? Покрывшись холодным потом, он вновь сунул руку в верхний карман, но там больше ничего не было. Он удивленно вздрогнул, руки почти одновременно схватились за большие боковые карманы, но в них тоже было пусто. Тогда он начал один за другим выворачивать все остальные карманы; на землю полетели листки бумаги и продовольственные карточки, со звоном упали металлические монеты и ключи, покатились по тротуару надкушенная пампушка. Но письмо словно улетело без крыльев!

Откуда-то из самого нутра Чжунъи вырвался крик ужаса. Потом он застыл недвижимо, глаза его расширились настолько, что казалось — еще чуть-чуть, и серые зрачки вывалятся, оставив вместо себя кругловатые отверстия. Клапан его верхнего кармана торчал наружу, как высунутый язык у собаки, возле ног блестело несколько никелевых монет.

Шедшая навстречу старуха с корзиной поравнялась с ним, остановилась и долго смотрела на него, заинтересовавшись столь необычной внешностью. Но он ничего этого не замечал.

7

С семи пятнадцати до семи сорока пяти он несколько раз проделал путь от дома до почтовой тумбы, но потерянного письма не нашел. Он внимательно осмотрел также лестницу и коридор в своем доме, вспугнув при этом тетушку Ян с нижнего этажа.

— Товарищ У, что это вы ищете?

— Письмо! Понимаете, письмо! Вам не попадалось?

— Письмо? Конечно, попадалось!

— Где же оно? — Сердце от радости прыгало в его грудной клетке.

— Так я же отдала его вам вчера, когда вы шли с работы. Вы что же, обронили его где-нибудь?— проявила участие те-тушка Ян.

Его сердце со стуком упало вниз, он пробормотал:

— Да нет, я не о том, другое письмо исчезло!

Он вернулся в свою комнату в настроении хуже некуда. Письма нигде не было. На столе лежало полпачки почтовой бумаги, стоял раскрытый пузырек с чернилами. Из-под плохо прикрытой дверцы печурки вились тоненькие бледные струйки дыма. То было последнее напоминание о сожженных им утром черновиках письма. В полузабытьи он вдруг подумал: а не сжег ли он по ошибке вместе с черновиками готовое письмо? Но тут же отверг эту оптимистическую гипотезу. Ведь он отчетливо помнил, как перед уходом из дому взял со стола и положил письмо в верхний карман, а в коридоре еще пощупал его (память о том, как он трогает карман, еще оставалась в кончиках его пальцев). Сомнений нет: он потерял письмо, а кто-то его подобрал. Кто же мог его подобрать? И тут он подумал о мальчишке в полувоенном пальтишке, который играл у края дороги.

— Ясное дело, он! Больше на улице никого не было.

Проникнувшись этой уверенностью, он побежал на то место, где играл мальчуган, но там уже никого не было. Он подумал, что мальчик наверняка живет за ближайшими к этому месту воротами, и стал ждать, прислонившись к дереву. Он взглянул на часы — уже восемь, пора быть на работе, а ведь вчера Чжао Чан предупредил, что сегодня не разрешаются ни отлучки, ни опоздания. Но что значило это предупреждение по сравнению с тем архиважным делом, которым он был занят сейчас? Он прождал с десятков минут, и тут, можно сказать, ему повезло — из соседней двери вышел мальчик с болтавшимся за спиной зеленым ранцем. Чжунъи сразу узнал того мальчишку по висевшему на груди значку особо больших размеров. Одним прыжком настигнув мальчика, он набросился на него, как выскочивший из-за деревьев грабитель с большой дороги, и схватил за руку:

— Отвечай, ты видел то письмо?

Мальчик вздрогнул, увидев его искаженное волнением и тревогой пугающе бледное лицо, и тут же поднял рев.

— Не надо плакать, скажи, где мое письмо?— продолжал Чжунъи, не отпуская его руки.

Тут со двора, отделенного от улицы стеной, донесся женский голос: «Сяоцин, Сяоцин, что с тобой?» Следом выбежала женщина небольшого роста с темно-желтым лицом и мокрыми руками — видимо, мать мальчика. На ней был передничек в голубую клетку. Она с ходу накинулась на человека, схватившего ребенка:

— Ты что это делаешь?

При виде матери мальчуган принялся реветь еще громче. Чжунъи сконфуженно отпустил его руку и стал объяснять:

— Я... Я потерял письмо, а ваш мальчик недавно здесь играл. Вот я и спросил, не видел ли он...

Мальчик проговорил сквозь слезы, явно рисуясь перед матерью:

— Он меня схватил, да так больно...

— Ну и спросил бы, а хватать-то зачем, он же тебя не трогал!— пробурчала мать, неласково глядя на Чжунъи, затем повернулась к сыну:— Сяоцин, ты видел его письмо?

— Не видел, ничего я не видел. А он как схватит меня...

Мальчик продолжал всхлипывать и твердить, что не находил письма. Чжунъи оставалось лишь попросить извинения и поспешно ретироваться. Вид у него был весьма жалкий, в ушах все еще звучали плач мальчишки и сердитый голос его матери:

— Подумаешь, письмо потерял. Есть из-за чего кипятиться, на людей набрасываться! Первый раз вижу, чтоб из-за какого-то письма обижали ребенка...

Постепенно звуки ее голоса замерли в отдалении, но в голове Чжунъи стоял прежний гул. Он понял: его письмо подобрал случайный прохожий. А вся беда была в том, что он хотел скрыть от начальства своего брата приватный характер письма и потому отправил его без своей подписи и адреса в служебном конверте института. Поскольку на нем было указано местонахождение института, подобравший письмо наверняка в самом

скором времени доставит его по этому адресу. Следовательно, Чжунъи сам привел себя в пасть тигра.

8

«Будем снисходительны к раскаявшимся! Будем суровы с упорствующими!»

У Чжунъи прочел на стене института этот лозунг, едва успев войти в ворота. Лозунг был начертан на еще не просохшей от клейстера бумаге огромными, в человеческий рост, иероглифами, сверкавшими черной, тоже еще не высохшей краской. Они ярко выделялись на белизне бумаги, лезли в глаза и, казалось, были обращены именно к нему.

В этот день в институте было непривычно тихо, да и вся атмосфера была какой-то необычной. Пустой двор, пустые коридоры, все помещения заперты. Он распахнул дверь в свой кабинет — там не было ни души. Солнечный свет свободно лился через четыре широких окна, и лучи, отражаясь от стеклянных поверхностей столов, слепили глаза. В учреждениях уже перестали топить, и в комнатах, не обогреваемых ни переносными печами, ни калориферами, стоял холод. На своем столе он обнаружил записку следующего содержания:

«Чжунъи!

С сегодняшнего дня наш сектор вместе с сектором новой истории начинает вести кампанию. Мы все пошли туда. Приходи и ты, не задерживайся.

Чжао Чан».

Он поспешил в сектор новой истории. Там помещение было вдвое больше, чем у них. Его сослуживцы Цинь Цюань и Чжан Динчэнь сидели вперемежку с сотрудниками и сотрудницами другого сектора. Чжан Динчэнь на сей раз был одет в старую, застиранную до белизны синюю куртку из грубой ткани. По одному ему известной причине он надевал ее каждый раз, как затевалось очередное мероприятие, поэтому острословы именовали ее не иначе, как «спортивная форма». В этот момент все были заняты какой-то писаниной. На пять столов приходилось вдвое больше людей, им было тесно, но никто не жаловал-

ся, занятый своим делом. Все заметили, что вошел У Чжунъи, но никто его не приветствовал. Только Цинь Цюань слегка повернул к нему свое тощее, мрачное лицо, кивнул, но не сказал ни слова.

Всего за одну ночь отношения между людьми изменились до неузнаваемости, на прежнюю дружбу рассчитывать уже не приходилось. Дружба испарилась, словно вода на сильном огне, и остались лишь отношения типа «я тебе, ты мне», причем никто этого не скрывал.

У Чжунъи присмотрелся и увидел, что Цинь Цюань своим превосходным «уставным» почерком пишет дацзыбао. Ее заготовок, выведенный иероглифами в кулак величиной, возвещал: «Приветствую всех, кто будет как следует разоблачать и критиковать меня!» Дальнейший текст был написан очень четкими и правильными знаками, расположенными на равном расстоянии друг от друга. В начале каждой из предыдущих кампаний он делал такой тактический ход, но это ни в коей мере не спасало его от ожесточенных нападков и проработок. Перед каждым из остальных сотрудников лежал разлинованный лист бумаги средних размеров. Некоторые что-то писали на нем, не отрываясь, другие застыли с перьями в руках, третьи при виде вошедшего Чжунъи прикрыли ладонью написанное. Но тот вовсе и не собирался подглядывать, понимая, что в такой момент человек, проявляющий излишнее любопытство к чужим писаниям, сам выглядит подозрительно.

Дверные петли скрипнули, и в помещение вошел худощавый высокий мужчина средних лет в прямоугольных очках с тонкой черной оправой. На его отглаженном форменном кителе выделялся, сверкая, позолоченный зажим авторучки. Подобные руководящие работники попадают в каждом учебном или исследовательском институте, в каждом учреждении. С первого взгляда видно, что это люди способные, осмотрительные и многоопытные во всех отношениях. Порой излишне строгие и самоуверенные, они тем не менее пользуются у подчиненных большим авторитетом за порядочность и сугубо деловой подход.

Вошедшего звали Цуй Цзинчунь, он заведовал сектором новой истории. Всегда, при любых переменах обстановки, он старался поддерживать определенную дистанцию между собой и сослуживцами, так что при внешне добрых отношениях никто не мог похвастаться близостью с ним. И никто не решился бы сказать, что в действительности таится в глубине его души.

— Вы опоздали. Что-нибудь случилось? Заболели?— спросил Цуй Цзинчунь, видя необычное выражение лица У Чжунъи.

— Нет, нет, со мной ничего...— поторопился ответить тот, но затем добавил:— У меня голова было закружилась — наверное, угорел немного с вечера. Но сейчас все в порядке...

Он вообще не привык лгать, да и волнение сказалось, поэтому в его ответе начало противоречило концу. Цуй Цзинчунь сразу понял, что необычный вид У Чжунъи объясняется не физиологическими, а психологическими причинами. Почему бы это, ведь раньше, при прежних кампаниях, такого за У Чжунъи не замечалось. В душе Цуй Цзинчуна запечатлелся маленький, еле различимый вопросительный знак. В подобных ситуациях люди становятся чрезвычайно наблюдательными, даже у самых тупых по нервам как бы пробегает электричество, а с органов чувств спадают все покровы. Цуй Цзинчунь закрепил вопросительный знак в своем сознании, но виду не подал и сказал:

— С нынешнего дня ваш сектор региональных проблем будет проводить все мероприятия вместе с нашим. Руководство института создало рабочую группу для ведения кампании во главе с Цзя Дачжэнем из политотдела. Ваш заведующий Чжао Чан вошел в эту группу, поэтому проводить кампанию в нашем объединенном секторе пока что буду я. Вот, возьмите. Напишите — отдадите мне.

Он передал Чжунъи лежавшую на столе пачку бумаг, а затем сугубо официальным, серьезным тоном обратился к Цинь Цюаню:

— А вас я попрошу проследовать вместе со мной в рабочую группу. Там хотят вас видеть.

— Иду!— ответил Цинь Цюань. Было очевидно, что за желанием группы видеть его не кроется ничего хорошего. Но он,

будучи человеком опытным, не выказал никаких признаков паники. Он не торопясь надел на свою ручку бамбуковый наконецник, сложил втрое недописанный лист бумаги и придавил его чернильницей. Затем он взял со стола чайную кружку, с большим, нежели обычно, шумом проглотил остававшийся в ней кипяток — казалось, в горле у него прокатился булыжник. Наконец, поставив кружку обратно на стол, он пошел вслед за Цуй Цзинчунем.

Все происшедшее произвело на Чжуньи гнетущее впечатление. Он сел на освободившееся после Цинь Цюаня место и взглянул на переданные ему заведующим бумаги, вышедшие из-под гектографа. Одна была озаглавлена «Разоблачительное письмо»; на ней был начертан лозунг «Разоблачение — подвиг, укрывательство — преступление» и оставлено место для имени «разоблачающего». Вторая бумага называлась «Заявление о добровольной явке с повинной». В ней тоже было оставлено место для подписи «раскаявшегося» и напечатан уже известный лозунг «Будем снисходительны к раскаявшимся! Будем суровы с упорствующими!» Чистый лист бумаги, приглашавший к «добровольной явке с повинной», как будто притягивал его к себе.

Взор Чжуньи остановился на росшей за окном иве. Ее ветви с недавно распутившимися листьями покачивались под легким дуновением ветра, пленяя своей нежной зеленью, но в сердце Чжуньи это не рождало никакого отклика. В его мозгу что-то вращалось быстро-быстро, словно мотор. Маленькие дети любят, забившись в уголок, придумывать разные страшные сцены и пугать самих себя; вот и он представлял во всех леденящих кровь подробностях последствия, к которым может привести утерянное письмо. При этом по силе воображения он вполне мог соперничать с Дюма-отцом. Вдруг ему вспомнилось, что, обыскивая утром свою комнату, он не заглянул под нижний выдвижной ящик стола, а ведь когда он вытаскивал ящик, письмо вполне могло упасть туда, тем более что ящик был переполнен. Не исключено, что, торопясь на работу, он сгреб вместе с другими вещами со стола письмо и сунул его именно в тот ящик. Ощущение же, будто он положил его в карман

куртки, было ошибочным — одним из тех, что легко возникают у сильно обеспокоенного человека. Ему захотелось немедленно броситься домой и перевернуть стол, ради этого он уже готов был изобразить внезапное недомогание.

Но это приятное состояние продолжалось минут пять, не больше: он понял, что это всего лишь маловероятная гипотеза, придуманная для самоутешения. Ощущение того, что он ощущал письмо в кармане, вновь упрямо возникло в кончиках его пальцев, и было оно столь же отчетливым и несомненным, как утром. Письмо потеряно, это ясно. Теперь вся надежда на то, что подобранный его добрый человек опустит конверт в почтовую тумбу. А если это будет не добрый человек? Надо-рвет, прочтет, узнает его тайну, захочет с помощью письма отличиться и нажить политический капитал, и тогда для него, Чжуньи, уже нет спасения. Страшная картина возникла перед его глазами: вот именно сейчас доносчик передает письмо руководителю рабочей группы Цзя Дачжэню, тот разворачивает его, читает...

Тут в дверь постучали. Он вздрогнул от неожиданности. Кто-то из сослуживцев крикнул:

— Войдите!

Дверь чуть-чуть приоткрылась, показалось незнакомое, широкое и в то же время удлиненное лицо с маленькими, как бы опущенными книзу, глазками и большим ртом, чем-то напоминавшее морду бегемота. Затем раздался голос с явным сычуаньским выговором:

— Это канцелярия? Я к вам по делу.

— Здесь проводится кампания. Вам надо пройти на второй этаж заднего корпуса, в ревком. А если вы прибыли по следственному делу, то поднимитесь на третий этаж, в рабочую группу, — холодно ответил тот же сослуживец. В такие дни никто не хотел вступать в дела, не касающиеся его лично.

У Чжуньи сидел прямо против двери. Ему показалось, что пониже физиономии бегемота в открытой руке что-то белеется. Сердце его подскочило вверх, прямо к гортани. Может, это и есть принесший письмо?

Посетитель прикрыл дверь и удалился.

И тут У Чжунъи вскочил, задев при этом стул и едва не опрокинув его, распахнул дверь и выбежал в коридор. Все это он проделал молниеносно, как по пожарной тревоге. Все в комнате удивленно переглянулись.

— Вам кого нужно?

— Мне нужно институтское начальство.

— А у вас... у вас в руке не письмо?

— Письмо, а что?

— Вы его на улице подобрали, да?— Чжунъи не мог сдерживать нетерпения.

— Подобрал?— опущенные книзу глаза посетителя приняли почти вертикальное положение и с удивлением взирали на этого человека, чьи действия, слова и внешность производили столь необычное впечатление. В голосе его зазвучал гнев:— Как это — подобрал? Я прибыл из Чунцинского музея для установления деловых контактов. Вот направление из моей организации — вы же не будете говорить, что оно подложное? Видите — вот печать! У меня и служебное удостоверение при себе.— Сделав каменное лицо, он разжал ладонь — действительно, то было рекомендательное письмо из его учреждения, и на нем действительно красовалась круглая красная печать.

У Чжунъи облегченно вздохнул, но теперь надо было выпутываться из неловкого положения, в которое он сам себя поставил. Он стоял со смущенным выражением на лице, уголки его рта дергались, но убедительных слов для разъяснения своей оплошности он не находил.

Посетитель пробормотал что-то вроде «какое безобразие» и ушел, всем своим видом выражая неудовольствие. Чжунъи тоже хотел повернуться и уйти, но тут показался шедший в его сторону Чжао Чан. На его полном лице сияла улыбка. Приблизившись вплотную, он сказал:

— Старина, говорят, ты пишешь разоблачительное письмо. Напишешь — неплохо бы и мне дать почитать!

— Что? Разоблачительное письмо? Кого же я могу разоблачать?— слова заведующего сектором поставили Чжунъи в ту-

пик — он не мог сообразить, чем они продиктованы.

— Конечно, меня! Ну, чего ты так таращишь глаза, напугать меня хочешь? Я же шучу с тобой. И вообще, если ты и напишешь разоблачение, ты его отдашь не мне, а Цуй Цзинчуню. Правда, потом оно все-таки попадет ко мне... Ну полно, старина, не принимай мои шутки всерьез. Мы же с тобой прекрасно знаем друг друга. Ни у кого из нас нет проблем, не так ли?!— Тут он хлопнул Чжуньи по плечу и закончил:— Будут какие вопросы, приходи ко мне. Я в заднем корпусе на третьем этаже, спросишь рабочую группу. Кстати, что это ты сегодня опоздал на работу? Я не дождался и оставил на твоём столе записку. Видел?— Не ожидая ответа, Чжао Чан последовал дальше.

У Чжуньи остался на месте. По всему его телу разлилось приятное ощущение: ведь если Чжао Чан тепло разговаривает с ним, значит, можно не сомневаться, что рабочая группа еще не получила его письма. Значит, пока дело не дошло до печального финала, можно продолжать надеяться на лучшее. Сейчас ему не хотелось больше думать о только что случившихся событиях, не хотелось вспоминать злополучное письмо. Ему хотелось окунуться в излучавшееся Чжао Чаном тепло, словно в горячую ванну, и никогда больше не сталкиваться с трезвой действительностью. Они были приятелями с Чжао Чаном, но никогда прежде подобный жест Чжао Чана не показался бы ему таким важным, как в эту минуту.

Но почему и зачем Чжао Чан говорил ему все те слова?

Этого он, наверно, до конца жизни не узнает.

9

Сердце с сердцем порой сливаются при первом соприкосновении, как капли дождя, а порой движутся, подобно небесным светилам, на огромном расстоянии друг от друга. Когда с одной планеты смотришь на другую, она кажется загадочной, окутанной облаками и туманами, полной загадочных тайн...

Кто бы мог подумать, что Чжао Чан, пока он не узнал тайну У Чжуньи, боялся его?

Когда-то он служил в одном из департаментов управления

коммунального хозяйства. Его интересовало все, что связано с родными местами, — природа, история, памятники старины, обычаи, предания. Когда выдавалось свободное время, он беседовал со старожилками, выспрашивал у них обо всем необычном и интересном. Он старался собирать все, пусть даже малозначительные и разрозненные, материалы, способные пролить дополнительный свет на те или иные исторические события и факты: редкие издания, письма именитых людей, прокламации восставших крестьян, лубочные картинки местного изготовления, образцы кирпича, черепицы из дворцов и пагод, старые фотографии самого разного содержания. Ведь часто специалист делает свои первые шаги, движимый не какими-то далеко идущими замыслами и планами, а исключительно собственным любопытством. Притом ученый с обширными познаниями не обязательно является специалистом в узких вопросах — для исследователя важнее не широта эрудиции, а дотошность.

Интерес Чжао Чана к истории родного края не остановился на уровне простого любования или коллекционирования. Он старался выявлять и изучать проблемы и часто публиковал результаты своих изысканий в форме газетных статей. Эта отрасль исторической науки у нас никогда не процветала. Большинству ученых-историков она казалась слишком узкой и недостойной внимания, так что в случае необходимости получить какие-то сведения или материалы им приходилось прибегать к помощи таких краеведов, как Чжао Чан. Постепенно он стал специалистом-непрофессионалом, приобрел некоторую известность. После 1958 года в институте истории было решено создать группу региональных исторических проблем, и он был приглашен работать в ней. Примерно в то же время был принят и Чжан Динчэнь. Цинь Цюань работал в институте с самого его основания, но в пятьдесят седьмом году был зачислен в правые, а когда с него «сняли колпак», его отправили работать в эту же группу. Последним пришел сюда У Чжуньи.

Очень скоро Чжуньи и Чжао Чан стали друзьями.

Человек с человеком — что ключ с замком: если ключ подходит, замок открывается сразу. Чжао Чан по натуре был

покладистым, незлобивым, легко сходился с людьми. Он всего себя отдавал работе, редко высказывал претензии к кому-либо и потому очень подходил Чжуньи.

Был он очень полный, рыхлый, округлый; в его внешности, как и в характере и в манере речи, не было никаких острых углов; в слегка изогнутых небольших глазах вечно пряталась добродушная, приветливая улыбка. Ему скоро должно было стукнуть пятьдесят, но если смотреть против света, на его щеках можно было увидеть мягкий, как бархат, блестящий пушок. Всем своим обликом он напоминал ласкового кота. Одни считали его скользким, другие просто миролюбивым; во всяком случае, он никогда никого не задевал, не вмешивался в чужие дела. А поскольку он и работал на совесть, кто мог сказать о нем плохое слово?

До прихода У Чжуньи группа региональных проблем входила в сектор новой истории и подчинялась Цуй Цзинчуню. Делами группы руководил Чжао Чан, но никакого официального титула не имел. После появления У Чжуньи группа выделилась в самостоятельный сектор, и руководство института назначило У «временно исполняющим обязанности заведующего». Он имел университетский диплом и был членом комсомола со стажем, в то время как Чжао, Чжан и Цинь в политическом плане никаких преимуществ не имели. «Временным» же заведующим его сделали из-за пятна, связанного с делом брата, но более подходящей кандидатуры на эту должность пока не находилось.

Чжао Чан не выказывал ни малейшей зависти по отношению к этому новичку, сразу ставшему руководителем сектора. Напротив, он уважал У Чжуньи за основательность его знаний, энтузиазм в работе и поразительную память, в которой все запечатлевалось, как на магнитной ленте. Его собственные знания носили несколько дилетантский характер, при всей их обширности им недоставало строгости, систематичности и теоретического фундамента. Поэтому он неизменно относился к Чжуньи с искренним почтением и держал себя подчеркнуто скромно.

Все способности У Чжунъи сосредоточились в области науки, в жизни же он был недотепой, не умел ни присмотреть за собой, ни постоять за себя. Он мог без запинки перечислить девизы годов правления всех императоров всех династий, но в быту все забывал и терял, питался кое-как, за порядком в комнате не следил. Когда ум человека постоянно витает в иных сферах, он не успевает думать о более близких вещах. Бог знает сколько раз он терял и снова покупал зонты, ручки, носовые платки, шарфы и коучжао*. Он то и дело терял ключ, дверь приходилось взламывать, и теперь она вся была в дырах и надрезах.

Ему, жившему бобылем, зарплаты должно было хватать, и тем не менее он всегда пребывал «в стесненных обстоятельствах», ходил в грязной и рваной одежде (некоторые даже полагали, что он нарочно притворяется бедняком) и редко ел по-людски. Чжао Чан был куда более хозяйственным и нередко по своей инициативе приходил к нему на помощь. Так, каждую зиму он являлся к Чжунъи и устанавливал ему дымоотвод к печке. Особенно беспомощным был Чжунъи в отношениях с людьми, и каждый раз, когда он сталкивался с трудным для него вопросом, Чжао Чан подавал ему советы, устранял недоразумения и решал дело приемлемым для всех способом. Постепенно доверие Чжунъи к Чжао Чану перешло в зависимость от него, в невозможность обойтись без его подсказок. А когда он смотрел благодарным и теплым взглядом на симпатичное толстое лицо Чжао Чана, тот любил пошутить:

— Вот, гляди, женишься, тогда и друг не понадобится!

Он качал головой. Много лет он осторожничал, ни с кем не завязывал дружбы, но долгое общение с Чжао Чаном убедило его, что этому человеку он может довериться. «Вот такой друг мне и нужен!» — думал он и не верил, что между ними может наступить охлаждение.

Пришла большая революция шестидесятых годов**, и все изменилось — и то, что имеет видимые формы, и то, чего

* Коучжао — белая повязка, которую носят зимой многие жители Северного Китая, чтобы предохранить рот и нос от ветра, пыли и инфекции.

** Имеется в виду так называемая «культурная революция».

увидеть нельзя. Изменились мысли людей, их привычки, мораль, верования, установившиеся между ними отношения. В самом начале кампании, когда атакам подвергалось руководство различных степеней, Чжао Чан вдруг вывесил дацзыбао, направленную против Чжунъи. Он заявлял, что Чжунъи, «будучи ведущим сектором, ставит профессиональные вопросы на первое место, занимается только наукой, идет по пути белых специалистов» и т. п. В дацзыбао приводились и соответствующие примеры. Это поставило Чжунъи в тупик, он не мог понять, чего ради Чжао Чан первым в институте выступил с нападками на него. Но у Чжао Чана нашлись последователи — по его примеру Цинь Цюань и два сотрудника сектора новой истории тоже дали залп в его сторону. Это напугало его, он стал беспокойным, плохо спал. Однако благодаря своей обычной осторожности он не давал особых поводов для атак, и скоро все кончилось. Через некоторое время он перестал придавать значение случившемуся. Он был человек мирный, не знал ни сильной любви, ни сильной ненависти, не умел мстить за обиды и даже не помнил обид. И все же акция Чжао Чана породила, вне всякого сомнения, некоторую отчужденность между ними. Отношения их становились все более прохладными.

Тут начались стычки между двумя фракциями. Чжао Чан подался в ту, которую возглавлял Цзя Дачжэнь, и стал в ней видной фигурой. По мнению противной группировки, он был там главным заводилой; однажды его схватили, связали, засунули в мешок и нещадно избили. У Чжунъи в междоусобице не участвовал, смотрел на происходящее со стороны и никак не мог понять, чего ради Чжао Чан так усердствует. Чжао пытался уговорить его присоединиться к своей фракции, но У под благовидным предлогом отказался. То был первый случай, когда он не послушался приятеля. Отношения между ними еще более охладились, довольно долго Чжао вообще не заглядывал к нему.

Потом фракции объединились, работа в институте возобновилась. Группировка Чжао Чана взяла верх и стала господствовать в переформированном руководстве института, отхватив

себе едва ли не все ответственные должности. Цзя Дачжэню достался пост начальника политотдела, а Чжао Чан был назначен заведующим сектором региональных проблем. Прежнего заведующего, У Чжунъи, с должности никто не снимал, но как-то так получилось, что он перестал выполнять обязанности руководителя. Некоторые говорили, будто Чжао Чан давно уже зарился на начальнический пост, но У этому не верил, да и не принимал случившегося близко к сердцу. Лишь бы его не трогали, а там будь что будет. Напуганный безжалостной сварой, которая вот уже два года не давала людям покоя, он жаждал спрятаться от нее куда-нибудь подальше. Поэтому он не сердился на Чжао Чана — точно так же, как в свое время тот не завидовал ему.

Вечером того дня, когда Чжао был назначен заведующим сектором, он вдруг появился в комнате У Чжунъи. Он держался естественно, как будто вовсе не было долгого перерыва в их встречах, и на его лице по-прежнему сияла доброжелательная улыбка. Едва перешагнув порог, он хлопнул У по плечу и заговорил, источая радушие:

— А ведь мы с тобой, брат, уже года два никак не соберемся посидеть, выпить по маленькой! Знаю, моя вина, все занят какой-то ерундой... Но теперь будем ходить друг к другу почаще!

Нескольких фраз оказалось достаточно, чтобы перевернуть страницы последних двух лет, отдававшие непередаваемой словами горечью. Можно было подумать, что между ними вообще ничего не произошло. Чего же лучше? Чжао Чан принес с собой опорожненную более чем наполовину бутылку байгара* и немного закуски — маринованной курятины, поджаренной в масле. Они очистили часть стола, поставили закуску, наполнили рюмки и разом сдвинули их. Прежняя близость, казалось, вновь воцарилась между ними. Но У Чжунъи чувствовал себя как-то неловко, словно это он был повинен во временном охлаждении.

Пить он не умел, так что уже с первой рюмки голова у него

* Байгар — очень крепкая дешевая водка.

отяжелела. Немного погодя и ноги стали чужими, перестали ему подчиняться. Лицо сидевшего напротив Чжао Чана, на которое падал свет лампочки, потеряло привычные очертания. Казалось, что перед ним большой белый мяч с глазами, носом и ртом, к тому же поросший шерстью. Ему было смешно глядеть на такой мяч, но он молчал; видимо, У принадлежал к той части людей, которым вино не развязывает язык.

Чжао Чан был более стоек, но и он вскоре стал заметно пьянеть: покраснелся, в ушах зашумело, голова как будто распухла. В противоположность У Чжуньи, он в подпитии говорил без умолку. Ему казалось, что голова собеседника качается из стороны в сторону; впрочем, он допускал, что это раскачивается он сам.

Вино частенько усыпляет часовых, сторожащих кладовую нашей души, и все, что хранится в ней, становится явным. У Чжао Чана внутри что-то клокотало, как вода в чайнике, он утратил свою обычную сдержанность. Его подмывало то зарыдать, то кричать от радости, хотелось высказать свои сокровенные желания и мечты. Он выплюнул на стол обглоданную куриную шею и, криво усмехнувшись, произнес:

— А ведь ты, брат, небось против меня зуб имеешь! Раньше я на тебя дацзыбао писал, а теперь вот подсидел тебя, в заведующие вышел!

— Да ничего подобного! — пробормотал Чжуньи, уже порядком захмелевший, и покачал головой.

— Не верю! Ты со мной скрытничаешь, так друзья не поступают. А ведь я вовсе и не зарился на это заведование — должность маленькая, выгоды никакой, одни хлопоты да обиды... Только нельзя было отвертеться, начальство настаивало. Я сейчас скажу всю правду: тебя не хотели оставлять заведующим из-за брата, он ведь в правых ходит. А тебе, кстати, все эти должности ни к чему. Таким, как ты, у кого темные пятна в анкете, впредь лучше сидеть тихонько в углу и не рыпаться, все равно вас наверх не пустят! А вот насчет дацзыбао против тебя — помнишь, в самом начале кампании?.. — Тут глазки Чжао Чана наполнились неподдельными слезами, в свете лампы

они сверкали и дрожали, готовые вот-вот упасть. Он еще больше раскраснелся и швырнул рюмку на стол. — Тут я виноват перед тобой, я и впрямь под тебя копал. Спросишь почему? Да потому, что поверил слухам: мол, у тебя с родней не все в порядке, и ничем ты, кроме работы, не интересуешься, несознательный... Наше начальство... я сейчас всю правду выложу! Наше начальство боялось, что его начнут ругать на собраниях, и решило отвести от себя удар. Говорили, что уже начали собирать материалы на тебя... Все знали, какие у нас с тобой тесные отношения, я побоялся оказаться замешанным, вот и накатал на тебя дацзыбао! Теперь ты знаешь всю подноготную. Можешь сердиться на меня, я заслужил! Я даже хочу, чтобы ты рассердился!

У Чжунъи весь пылал от выпитого байгара. Он был удивлен и напуган, но в то же время смущен оттого, что кто-то извинялся перед ним, каялся, просил прощения... Его словно одарили незаслуженной милостью, и слезы благодарности дрожали на его ресницах. Схватив рюмку, он высоко поднял ее и произнес с не свойственным ему волнением:

— Проще... пусть останется прошлым! Давай выпьем до дна!

Чжао Чан, тоже взволнованный, нетвердой рукой наполнил рюмку до краев. Оба выпили залпом, после чего наступила новая степень опьянения. Врата души распахнулись еще шире.

Чжао Чан заговорил, роняя слезы:

— Ты, брат, так ко мне великодушен, что я просто не знаю, как быть... Главное, ты верь мне! Чжао Чан тебя больше никогда не подведет. Не думай, что я из тех, кто карабкается наверх по плечам других! Я тебе больше скажу... За эти два года у меня наконец-то на все глаза раскрылись. В начале кампании я ведь тоже кипятился — мол, вперед, в бой, нанесем смертельный удар! На своих же товарищей как на злейших врагов смотрел. А теперь самому смешно — взрослые люди, а вели себя как драчливые мальчишки. Какой-то бес попутал! Дни и ночи в нашем штабе просиживал, домой идти не хотел! С детства был

смирным, воспитанным, в жизни ни с кем не дрался. А тут получил такую взбучку — голова, как спелый арбуз, трещала!.. Теперь обе фракции объединились, взялись за руки, заговорили о мире. А попробуй спроси их, из-за чего пошла вражда, — не ответят. Сегодня ты меня прорабатываешь, завтра я тебя. Допробатывались до того, что ни одного незапятнанного человека не осталось. А кому от этого выгода? Ведь мы все — простые пешки. Кто-то бросил нас на доску, мы и давай воевать друг с другом. А прошла нужда — нас опять засунули в коробку. Подумаешь об этом, и так муторно становится!

К этому моменту Чжуньи уже почти не различал лица Чжао Чана и еле разбираал его слова. Однако какой-то инстинкт, никогда не покидавшее чувство грозящей опасности подсказали ему, что в этих словах таится угроза, что нарушено суровое табу. Он еще раз покачал головой — на этот раз амплитуда колебаний была особенно большой — и промолвил заплетающимся языком:

— Ты это, поосторожнее, думай, что говоришь. А то согнут, понимаешь, так, что до конца дней не выпрямишься...

В залитом алкоголем мозгу Чжао Чана, видно, оставалось еще маленькое сухое местечко. Предостережение У Чжуньи, словно разряд молнии, заставило его всего передернуться. Хмель в одно мгновение улетучился. Вытаращив покрасневшие глазки, он уставился на Чжуньи, который сидел напротив, продолжая раскачиваться, как корабль в бурю, и повторял нечто маловразумительное:

— Нехорошо, нехорошо... Твои слова, понимаешь, реа...реа...

— Реакционные, думаешь? А что я такого сказал?

Чжуньи вдруг потерял равновесие, резко накренился влево и, если бы не ручка кресла, свалился бы наземь. Окончательно сломленный вином, он не отвечал ни на какие расспросы Чжао Чана.

Чжао уложил его на кровать, а сам, расстроенный, поплелся домой. Он злился на вино, но еще больше сердился на себя. С тех пор У Чжуньи ни разу не вспомнил о том разговоре. Чжао тоже не упоминал о нем и не пытался исправить свою

оплошность. Ведь если У был настолько пьян, что забыл неосторожные разглагольствования Чжао, то от любого намека они могут отчетливо всплыть в его сознании. В обычные времена эти слова не показались бы слишком смелыми, не говоря уже о том, что такой тихий и незлобивый человек, как У, не пошел бы доносить на приятеля. Другое дело сейчас, в разгар кампании. Такие высказывания могут погубить не только репутацию человека, но и его самого. И уж если тебе известно, что кто-то — не важно, кто именно — владеет твоим секретом, надо быть предельно осторожным. Поэтому Чжао Чан неотступно следил за всеми действиями У, раскинув вокруг него своего рода невидимую сеть наблюдательных постов.

Но все эти тревобления Чжао Чана были неведомы У Чжуньи, которому и своих забот хватало. К тому же он в тот вечер опьянел до такой степени, что напрочь забыл свой разговор с Чжао.

10

Вечером того же дня У Чжуньи оказался на берегу реки. В лицо ему дул мягкий, прохладный речной ветерок, напоенный бодрящим и волнующим дыханием ранней весны. На середине широкой реки волны дробили лунную дорожку на множество сверкающих и переливающихся пятен. Отражаясь в искрящихся, влекущих к себе водах, силуэты Чжуньи, перил беседки и деревьев казались вырезанными из черной бумаги. То близкий, то отдаленный шорох кипарисов помогал прятавшейся в их тени влюбленной парочке таить от людей свое воркование... В это время жизнь решила поднести ему ценный подарок: по освещенному луной берегу к нему медленно и застенчиво приближалась худенькая девица. Пленительная лунная ночь, казалось, аккомпанировала на сладкозвучном цине ее робким шагам.

Но его волновало совсем другое. После работы он помчался было домой, надеясь, что еще не все потеряно. Резким движением он до упора вытащил ящик письменного стола и стал лихорадочно рыться в нем. Увы, там оказались лишь старая

фотография, пластиковая обложка для блокнота, несколько скрепок и рукописи двух ненапечатанных статей. Письма не было. Последний шанс обрести утраченный покой улетучился. Растерянный, подавленный, отчаявшийся, он тем не менее полпелся на условленное место встречи с девицей.

Еще пару дней назад он был полон радужных планов. Ему очень хотелось жениться, завести собственную семью. До недавнего времени он не представлял для себя иной жизни, кроме холостяцкой, но с конца прошлого года, после знакомства с этой девицей, его образ мыслей в корне изменился. Девушка она была осмотрительная, несколько замкнутая, понятливая, хотя и ничем не блещущая. Куда меньше приспособленная к жизни, нежели его невестка, она была искренней, честной и надежной, а именно такие и нравились Чжунъи. По-видимому, в глубине души он опасался, что рядом с энергичной, яркой женщиной он будет проигрывать в глазах окружающих. Будущее рисовалось ему в таких красках: в небольшой комнате ярко пылает железная печка, светит настольная лампа, он склонился над неоконченной рукописью, весь обложенный книгами. Молодая жена с доброй улыбкой подносит ему чашку только что заваренного чая — дальше этого его мечты не шли. Ему хотелось, чтобы рядом был человек, способный понять его и добровольно взять на себя бремя домашних забот, с тем чтобы он мог все силы души отдать своей любимой работе. Еще ему хотелось ощутить тепло домашнего очага, познать супружескую любовь, поддержать на руках симпатичного малыша. Слишком спокойная, уединенная жизнь начала тяготить его. Да и старший брат с невесткой в их дальнем краю порадовались бы и перестали бы беспокоиться за него. И вот теперь из-за какого-то письма все эти мечты могут так и остаться мечтами, которым никогда не суждено осуществиться.

Девушку звали Ли Юйминь. Сейчас она стояла перед ним, и в ее больших, удлинённых глазах на уже не очень молодом лице дрожал блеск, свойственный тем, кто впервые познал молодое чувство любви. Этот блеск мало кого может оставить равнодушным. Ли Юйминь опустила ресницы, сердце ее ко-

дотилось. Но другое сердце оставалось безразличным.

Оба молчали, но по-разному.

Юйминь не решалась снова поднять глаза на Чжунъи — и к лучшему, иначе ее могло бы неприятно удивить выражение полного безразличия и отрешенности на лице молодого человека.

Они сделали несколько шагов, потом остановились у перил беседки. Каждый продолжал думать о своем.

Не раскрывая рта, Юйминь нерешительно вынула что-то из кармана и протянула Чжунъи.

— Что это? — спросил тот.

— Письмо, — прошептала она.

«Письмо!» — от этого слова Чжунъи передернуло, в мозгу пронеслись беспорядочные мысли. На миг поверилось даже, что это оброненный им конверт.

— Какое письмо? Мое? Давай же скорее!

Прошлый раз, когда Чжунъи официально предложил ей «стать друзьями», она сказала, что должна подумать. Это письмо и было ее ответом — она соглашалась на предложение Чжунъи. Старая дева впервые приоткрывала перед мужчиной свои чувства. Нетерпение, с которым У потребовал от нее письмо, она по неопытности расценила как признак того, что и он охвачен волнением. Она и радовалась, и стеснялась. Робким движением положив письмо в ладонь собеседника, она отвернулась и стала смотреть на лунную дорожку. Затем она проговорила еле слышно:

— В нем ответ на все, о чем ты говорил прошлый раз...

— Что? Какой ответ?.. Ах, так это не мое письмо...

Чжунъи словно пробудился ото сна. Значит, это не то письмо, от которого зависела его жизнь... В тоне его голоса отразился мгновенный переход от радостного порыва к разочарованию.

— Ты о чем?!

— Да так, ничего, пустяки. Все в порядке! — он сунул письмо в карман, как будто это был носовой платок.

Поведение Чжунъи озадачило и рассердило Юйминь. Влюб-

ленность обострила ее восприятия, а чувство собственного достоинства она оберегала, как хрустальный сосуд. Нежданная обида прогнала с ее лица счастливое выражение, щеки как-то сразу обвисли, и в свете луны стал явным ее настоящий возраст.

Ли Юйминь покинула беседку и пошла вдоль берега. Чжуньи машинально последовал за нею.

Происшедшей со спутницей перемены он даже не заметил. На душе было тяжело, в голову неотвязно лезли тревожные мысли... Не говоря ни слова, он шел рядом с Юйминь как будто посторонний. Ничего не замечая вокруг, он дошел с нею до развилки дорог и вдруг услышал ее голос:

— Верни мне то, что я тебе дала!

— То есть?

— Письмо! То письмо, что ты взял полчаса назад.

Еще не поняв толком, о чем идет речь, он достал письмо из кармана. Ли Юйминь выхватила из его руки письмо и заявила, что идет домой.

— Я провожу тебя!

— Нет нужды!— ответила она решительно и холодно, давая понять, что даже если последуют дальнейшие просьбы, они натолкнутся на отказ.

Только тут Чжуньи понял, что его слова и поступки Юйминь могла воспринять неправильно. Видя, что она все еще кипит негодованием, он решил успокоить ее и сказал:

— Я... Я сегодня не совсем здоров, ты уж ради бога не обижайся. Верни мне то письмо, ну пожалуйста!

При свете уличного фонаря можно было различить недобрую усмешку на лице Юйминь. Ледяным тоном она промолвила:

— Я сказала — нет нужды. Я вижу, что твои намерения переменились и тебе вовсе не хочется читать мое письмо!

С этими словами она засунула письмо в карман, резко повернулась и пошла прочь.

Она отошла уже довольно далеко, а он все стоял в растерянности. Наконец он выдавил из себя:

— Я зайду к тебе послезавтра!

Она не ответила, лишь ускорила шаги и вскоре скрылась из глаз.

На обратном пути У Чжунъи одолевали разные, но неизменно печальные мысли. Он думал: письма, письма, письма! Рекомендательные, любовные, обыкновенные... Каждый день тысячи и тысячи писем бродят по свету, их бесчисленное множество, но где то единственное письмо, которое необходимо ему? Беда, а ее-то неминуемо должно было навлечь на него потерянное письмо, уже начала прикипать в его сознании конкретные очертания, а ему оставалось разве что смущенно улыбаться и ждать, когда она грянет.

11

В первый день развертывания кампании во всем институте было подано лишь десятка полтора разоблачительных заявлений. В одном из них докладывалось, что старый сотрудник канцелярии по фамилии Чэнь во время утренней церемонии «запрашивания указаний»* дважды держал перевернутым цитатник. Только это заявление можно было как-то использовать, в остальных же сообщалась всякая чушь. Тогда рабочая группа издала распоряжение: отныне каждый сотрудник ежедневно должен подать не менее одного разоблачительного заявления, иначе он не будет отпущен домой.

У Чжунъи сидел с таким видом, словно он каждую минуту ждет представителя рабочей группы, который сообщит ему, что письмо подобрано и доставлено в институт. Сам он приготовился во всем сознаться, подвергнуться «борьбе» и пополнить собой группу поднадзорных, в которой уже находился Цинь Цюань.

Уставившись на лежавший перед ним бланк разоблачительного письма, он думал: не писать — не годится, но о чем писать? Теперь он по-настоящему понял смысл выражения «сидеть на

* Во время «культурной революции» был введен обряд «запрашивания инструкций»: перед началом работы все собирались перед портретом Мао Цзэдуна и хором читали цитаты из его произведений. После работы совершалась аналогичная церемония, именовавшаяся «итоговым отчетом».

ковре из иголок»; Чжунъи весь извертелся, его тощий зад то и дело ерзал на стуле. Так же беспокойно вели себя и другие сотрудники.

Для каждого из них время шло бессмысленно, мучительно и в то же время быстро.

Вошел Цуй Цзинчунь. Все уткнулись в бланки разоблачительных заявлений, делая вид, что припоминают детали. В этот момент поднялся Чжан Динчэнь и передал Цуй Цзинчуню два исписанных листка. Подобострастно согнувшись, он стал объяснять полусшепотом:

— Я вручаю вам свое прошение. Пусть руководство каждый месяц высчитывает из моей зарплаты по десять юаней в погашение полученных мною процентов с капитала*. Я по собственной инициативе хочу вернуть эти деньги, которые я не должен был брать, ибо они добыты путем эксплуатации... А второй листок — это разоблачение моего дяди. До освобождения он владел лавкой и часто подсыпал в мешки с рисом обыкновенный песок, обманывая таким образом трудовой народ. Здесь подробно рассказано, как он это делал.

Цуй Цзинчунь бесстрастно выслушал этот монолог и спросил:

— А где сейчас ваш дядя?

— Умер. Скончался в тысяча девятьсот пятидесятом году.

— Значит, вы разоблачаете покойника?— на строгом, мало-подвижном лице Цуя появилось брезгливое выражение. Все же он взял эти листки и ушел.

Чжан Динчэнь вернулся на место и долго сидел, уставившись прямо перед собой и пытаясь понять скрытый смысл слов Цуя.

У Чжунъи все еще пытался сосредоточиться на лежавшем на столе бланке, который во что бы то ни стало необходимо было заполнить какими-нибудь словами. Но в его голове по-прежнему не оставалось места для размышлений о чем-либо, не связанном с проклятым письмом. Какие только сумбурные и нелепые идеи

* После национализации в 1956 году частных промышленных и торговых предприятий их бывшим владельцам выплачивался определенный процент с вложенного капитала. Во время «культурной революции» выплата была прекращена, но затем возобновилась.

не приходили ему на ум! Машинально он написал на разоблачительном бланке иероглиф «синь» — «письмо», но тут же спохватился и задрожал, как будто один этот знак способен выдать его тайну. Он тут же замазал иероглиф густым слоем чернил, и в эту самую секунду рядом с ним возник Чжао Чан.

У быстро сложил бланк вдвое и придавил рукой, как будто там лежал только что пойманный кузнечик. Чжао Чан уселся на соседний стул и заулыбался:

— Ну, о чем пишем? Можно взглянуть?

У заверил его, что еще ничего не написал, но показать бланк не захотел, — напротив, стал прижимать его к столу еще крепче. Взгляд его был напряженный и немного растерянный. Опасливый Чжао Чан сделал из этого ошибочный вывод — мол, У начал писать что-то против него и испугался, что будет пойман на месте. Однако виду Чжао Чан не подал, дружески похлопал Чжунъи по плечу и произнес с усмешкой:

— Ты пиши все как есть, а то придумаешь что-нибудь — сам неприятностей не оберешься! — С этими словами он оторвал зад от стула и удалился.

В коридоре Чжао Чан остановился, достал сигарету и сделал несколько затяжек. Кольца дыма вращались в воздухе, как сомнения в его мозгу. Он строил самые разные предположения по поводу необычного поведения У Чжунъи, но тут же отбрасывал их, так и не придя к окончательному выводу. Все-таки наиболее вероятным казалось, что У хочет разоблачить его полупьяные речи и таким образом убрать его с должности заведующего... Чжао Чан разогнал рукой клубы сигаретного дыма и поспешил в свой кабинет, чтобы обдумать ответные меры.

12

В течение двух дней У Чжунъи и Чжао Чан мучились всевозможными предположениями, взаимными подозрениями и опасениями.

Где бы Чжао Чан ни встретил Чжунъи, он сразу же делал каменное лицо, отводил глаза в сторону и лишь подчеркнуто холодно, чуть заметно кивал головой, проходя мимо. Он думал, что

этим он окажет моральное давление на противника. Пусть У Чжунъи станет ясно, что его побуждения уже разгаданы. А перед концом работы Чжао Чан по часу сидел, не двигаясь, в комнате рабочей группы: он дожидался, пока Цуй Цзинчунь принесет разоблачительные письма из сектора новой истории, чтобы узнать — нет ли среди них направленного против него материала Чжунъи.

Такой образ действий Чжао Чана вызывал у Чжунъи немалое беспокойство. Ему мерещилось, будто подобранное кем-нибудь письмо уже доставлено в рабочую группу, а Чжао Чан каким-то образом узнал об этом. Поскольку они давно уже ходят в приятелях, Чжао Чан опасается быть замешанным в это дело и подчеркнуто сторонится его. Ведь когда в самом начале кампании Чжао Чан писал против него дацзыбао, он, по его собственному признанию, руководствовался точно такими же мотивами.

Поведение Чжао Чана он рассматривал как некий барометр, предсказывающий, когда разразится буря над его головой. Но тут-то и таилась беда, ибо Чжао тоже строил свои прогнозы на основании поведения У.

А тот постоянно пребывал в напряжении и особенно естественно держал себя в присутствии Чжао. Его встревоженные серые глаза то и дело беспокойно бегали под стеклами очков, поблескивая, словно вращающиеся стеклянные шарики. Он не решался прямо взглянуть на Чжао, а тот думал про себя:

«Чего это ты, парень, стал меня бояться? Небось уже накал свою телегу!»

Думал Чжао и о том, почему в таком случае он до сих пор не видел разоблачений Чжунъи. Видимо, Цуй Цзинчунь вовремя заметил, что речь идет о его сотруднике, и пока что припрятал заявление или уже потихоньку передал его начальнику рабочей группы Цзя Дачжэню. И он начал следить за каждым словом Цзя Дачжэня и Цуй Цзинчуна, отмечая малейшие изменения и странности. Он был более опытным, нежели У Чжунъи, умел сдерживаться и скрывать свои настроения. Но чувствовал себя в этот момент он ничуть не лучше — на душе было так же тяжело, беспокойно и боязно. От этого он все больше ненавидел У

Чжунъи, ненавидел до того, что желал ему подхватить заразную болезнь, попасть под автомобиль или же самому оказаться повинным в таком прегрешении, что ему навсегда заткнут рот и не позволят напасть на него, Чжао Чана.

13

Цзя Дачжэнь в институте был незаменимым человеком — как говорится, «кормился из железной площадки». А ведь должность он занимал не очень большую — всего лишь начальник политотдела, ранг имел невысокий — «кадровый работник двадцать первого разряда»; на работу ездил на стареньком, красном от ржавчины велосипеде, за обедом мог позволить себе только самые дешевые блюда, а во время болезни должен был упрашивать знакомых купить ему лекарства получше. Тем не менее в те чрезвычайные времена, когда кадровые вопросы главенствовали над всеми прочими, он обладал очень большой властью. Попад на перекресток судьбы, очень многие взирали на него как на светофор, который должен указать им, куда двигаться дальше. Но уж если человек попадал ему в руки, Цзя не спешил с ним расстаться — подобно тому как Гобсек не хотел расставаться с деньгами, оказавшимися в его кошельке.

Творить над людьми расправу, валить их наземь, подчинять своей воле — вот что стало главным содержанием жизни и работы Цзя Дачжэня, его основной заслугой. В те дни он был хозяином жизни, сильной личностью; разумеется, в весьма специфическом смысле. В его руках оказались неограниченные возможности манипулировать отношениями между людьми. Считалось недобрым предзнаменованием, если он начинал кем-либо интересоваться. Любые контакты с ним грозили непредвиденными последствиями, и неудивительно, что люди всячески его избегали. Но его это нисколько не смущало: напротив, он не без гордости сравнивал себя с «концентрированным ядохимикатом». Увы, этот яд разбрызгивался в таких количествах, что от него гибли не столько вредные насекомые, сколько полезные.

Он сметлив, проницателен, ловок, осторожен. От него не ук-

роется малейшее душевное движение, по выражению глаз и цвету лица он умеет читать чужие мысли, сквозь кожу видеть нутро человека. Он владеет множеством способов заставить человека вывернуть себя наружу, причем делает это быстро и уверенно. Он похож на мастера ловли сверчков, который с удивительной легкостью заставляет их вылезти из щелей между кирпичами. Таких людей создали ненормальные условия жизни, но, раз появившись, они делают жизнь еще более ненормальной. В те годы, когда настоящая, серьезная работа не очень-то ценится, таких специалистов становится все больше и больше — создается своего рода новая профессия, новая прослойка людей, чья специальность — травить других людей. Как штангенциркуль используют для измерения и выбраковки нестандартных деталей, так и они прилагают к словам и поступкам окружающих собственный измерительный прибор, доходя в строгости своих нормативов до абсурда. Их коллеги пишут свои труды, не жалея знаний и опыта, крови и пота, стараясь расцветить их всеми красками своей души, а они пишут материалы на тех, кто пишет труды. Живую, радостную атмосферу они превращают в удушливую, застойную, пугающую. Есть у них и своя профессиональная болезнь: в обычные времена они чувствуют себя одиноко, томятся от скуки, не знают, чем заняться. Но когда по жизни пробегают волны, они сразу взбадриваются, как от тяжести опиума, становятся энергичными и предприимчивыми. Словно ночные бабочки или совы, они оживляются лишь с наступлением ночи. Именно в таком состоянии пребывал в те дни Цзя Дачжэнь — будто молодой атлет, вышедший на разминку перед соревнованиями, он ощущал в себе избыток сил и душевный подъем.

Необычности его профессии соответствовал и своеобразный внешний облик. Ему было всего сорок с небольшим, но он давно уже облысел — видимо, от чрезмерной умственной деятельности. Лишившись растительности, голова стала казаться маловатой для его длинного, худого тела. Неустанный труд иссушил его плоть, кости торчали во все стороны, а желтое, без кровинки лицо напоминало выгоревшую на солнце старую газету. И толь-

ко глаза — полные жизни, моментально оценивающие все вокруг — сверкали из-под сморщенных век. Взгляд его был вызывающий, настойчивый, ледяной, неприятный, к тому же бесцеремонно устремленный прямо в лицо собеседника. С ним не хотели встречаться даже те люди, которым нечего было скрывать.

Утром Чжан Динчэнь написал на самого себя дацзыбао — первую из серии «Сурово критикую свои эксплуататорские действия». У Чжуньи вызвался помочь ему вывесить дацзыбао в институтском дворе.

Сделал он это потому, прежде всего, что сидеть в кабинете, вздрагивая по всякому поводу, стало уже невозможно. Кроме того, он хотел посмотреть, не происходит ли чего-нибудь такого, что может коснуться и его. Наконец, он все еще тешил себя надеждой, что ему удастся перехватить человека, который принесет потерянное письмо.

Все стены двора были оклеены дацзыбао. Среди них были торжественные заявления, обязательства, критические выпады; в некоторых рассказывалось о закулисной стороне борьбы двух фракций на предыдущем этапе кампании. Многие были непонятны для непосвященного: таким запутанным, тенденциозным, полным скрытых намеков было их содержание. Один наносил удар, другой отвечал, потом первый вновь переходил в наступление... Кто писал внятно, кто зашифровано, кто бил в лоб, кто совершал обходной маневр, кто выговаривался до конца, кто оставлял нож за пазухой. Было ясно видно, как обнажались, обострялись и углублялись противоречия между людьми, — обострялись тем более, что происходило это на виду у всех.

У Чжуньи помог Чжан Динчэню отыскать среди этих полотнищ пустое место, намазал стену клейстером и прилепил к ней лист бумаги с самобичеваниями Чжана. Тому показалось, что дацзыбао наклеена криво, и он стал поправлять листок, пачкая свои белые тонкие руки. Чжуньи стоял в нескольких шагах, подсказывая: «Левее, правее». Вдруг он почувствовал, что рядом с ним кто-то есть. Он повернулся и наткнулся на холодный, сверлящий взгляд. То был Цзя Дачжэнь! Заложив руки за спи-

ну, он неотрывно глядел на У Чжунъи, как бы показывая, что видит его насквозь. Тот вздрогнул, банка с клейстером выпала у него из рук и глухо шлепнулась на землю, забрызгав содержимым все вокруг.

Цзя Дачжэнь еле заметно улыбнулся; в его усмешке сквозила ирония.

Несколько секунд Чжунъи молча смотрел прямо перед собой, затем быстро присел на корточки и, не в силах унять дрожь в руках, стал собирать с земли липкий и скользкий клейстер. Затем он натянуто улыбнулся и произнес, пытаясь сделать вид, что ничего особенного не произошло:

— Такая скользкая банка, я вот...

Не вымолвив ни слова, Цзя Дачжэнь повернулся и пошел. Задавать вопросы не было нужды — он и так понял, что нечаянно набрел на богатую добычу. Когда он вернулся в свою рабочую группу, в кабинете находился один Чжао Чан, сортировавший разоблачительные материалы, которые поступили за этот день. Цзя уселся, закурил, выпустил клуб дыма и спросил, не поворачивая головы:

— Старина, что ты думаешь по поводу У Чжунъи?

Чжао Чан оцепенел. Ему почудилось, что Чжунъи только что беседовал с Цзя Дачжэнем. Может быть, Цзя уже располагает материалом на него и теперь хочет вызвать на откровенность? Руки и ноги его одеревенели, охвативший сердце страх отчетливо отразился на лице. Если бы Цзя в этот момент сидел напротив него, он, конечно, обнаружил бы еще одну подозрительную личность и не преминул бы вывести Чжао на чистую воду, приумножив свои заслуги. Но на сей раз ему не повезло. Словно слепая птица, удача метнулась в сторону Чжао Чана. Поняв, что Цзя Дачжэнь не заметил его мгновенной растерянности, он опустил ресницы и, продолжая листать материалы, ответил:

— Чжунъи?.. Затрудняюсь сказать.

Цзя Дачжэнь повернулся в его сторону:

— Как же так? Ведь вы с ним в близких отношениях!

— Близких? — хмыкнул Чжао Чан. — Да он со всеми в таких отношениях!

— Ты всегда заботился о нем!

— Ну, конечно, мы работаем в одном секторе, заняты сходными проблемами, общаемся чаще...

— Ты каждую зиму помогал ему устанавливать печку. Когда его брат болел, ты дал ему в долг двадцать юаней,— Цзя Дачжэнь говорил, не спуская с Чжао Чана глаз.

Чжао удивился, как хорошо осведомлен Цзя о его отношениях с Чжуньи. Между тем тот больше всего интересовался именно личными делами сотрудников института и прекрасно знал, кто с кем дружит, с кем в ссоре, кто как проводит свободное время. Хотя с начала кампании Цзя и Чжао принадлежали к одной фракции, хотя Цзя привлекал Чжао к выполнению важных поручений и вот сейчас включил его в рабочую группу, Чжао понимал, что все это до поры до времени. Стоит Цзя унюхать интересующий его материал, и он не пожалеет ни друга, ни родственника. Пока что Чжао не мог понять, к чему тот клонит, но не ждал ничего хорошего и почел за благо ответить неопределенно:

— Ну, если у тебя просят займы, отчего же не дать, в этом ничего особенного нет.

Но Цзя Дачжэнь не отставал:

— А ты знаешь, о чем думает У Чжуньи в глубине души?

Тут Чжао Чан догадался, что разговор не имеет отношения к нему лично. На сердце полегчало, и он стал отвечать более свободно:

— На этот счет я вам так скажу: со стороны посмотреть — мы вроде бы приятели, а на самом деле я его почти не знаю. Когда мы вместе, разговор идет только о работе или о житейских мелочах. О своих личных делах он никогда не говорит, о чем думает — тем более. Иной раз вздохнет глубоко, я спрашиваю — о чем, а он молчит. Потом еще раз вздохнет, но я уж не спрашиваю.

Говоря так, Чжао Чан хотел, с одной стороны, вызвать у Цзя интерес к личности Чжуньи, а с другой — создать впечатление, что он никогда не вел с ним откровенных разговоров, чтобы было легче отпереться в случае, если Чжуньи действительно доне-

сет на него. Свою оборону он строил весьма искусно — ни дать ни взять незримая линия Мажино.

— В его приемнике есть коротковолновый диапазон? — пере-
менил тему разговора Цзя Дачжэнь.

— По-моему, нет. Да и приемника скорее всего нет. — Чжао Чан все еще не догадывался, к чему клонит собеседник, но одно было ясно — сам он Цзя Дачжэня не интересуется.

— А дневник он ведет? — продолжал тот.

— Это мне неизвестно. Если бы и вел, мне бы, во всяком случае, не показал! А в чем дело, с ним что-нибудь случилось? — перешел в контрнаступление Чжао Чан. Он понял, что, ограничиваясь ответами на вопросы, он ставит себя в невыгодное положение.

Цзя Дачжэнь резко поднялся и произнес уверенным, не допускающим сомнения тоном:

— С ним не все в порядке!

При этих словах у Чжао Чана от радости заблестели глаза. Так, значит, дуло ружья, казалось бы целившего в него, направлено совсем в другую сторону! Будь он в комнате один, он закричал бы: «Слава богу!» И все же ему было трудно представить себе, какую зацепку мог Цзя Дачжэнь отыскать у Чжуньи — такого осторожного, робкого, законопослушного!

— А что именно? — не удержался Чжао.

Цзя Дачжэнь смерил его взглядом, но не стал делиться с Чжао своим только что сделанным открытием. Продолжая курить, он в задумчивости походил по кабинету, затем вернулся к столу и погасил сигарету о край стеклянной пепельницы. Обернувшись к Чжао Чану, он произнес внушительно:

— Что именно — узнаешь потом. Раз я сказал, значит, так и есть. Я... я думаю поручить кому-нибудь проследить за ним и о всяком необычном проявлении тотчас докладывать мне. Пожалуй, я поручу это тебе — вы всегда были с ним близки, так что ты не вызовешь подозрений. Но только надо постараться не вспугнуть его. Ты сможешь это сделать?

Чжао Чан ликовал в душе. Уж раз Цзя Дачжэнь дает ему такое задание, значит, у Чжуньи не успел написать на него

донос. Неважно, виноват ли У Чжунъи, и если виноват, то в чем. Важно использовать данное ему поручение для того, чтобы держать Чжунъи в своих руках. Если он сумеет двумя пальцами, большим и указательным, сомкнуть рот, из которого могут вырваться смертельно опасные для него слова, он будет хозяином положения. После короткого молчания он сказал:

— Думаю, что смогу. Только попрошу вас дать знать Цуй Цзинчуню, иначе он увидит, что я все время верчусь около У Чжунъи, и заподозрит неладное. Вы же знаете, какой у него сложный характер!

— Чего там сложного! Обыкновенный правый, консерватор. И всегда таким был. На ведение классовой борьбы смотрит с предубеждением. Только тебя это не касается, с завтрашнего дня ты от имени рабочей группы будешь вести кампанию в секторе новой истории. Хорошо?

— Хорошо! Замечательно! — Чжао Чан ощутил в себе позыв поизмываться над людьми.

14

Стараясь не подавать виду, Чжао Чан краем глаза следил за сотрудниками сектора новой истории. Действительно, в У Чжунъи было что-то непривычное: лицо казалось серым, как штукатурка, глаза за стеклами очков беспокойно бегали, стоило кому-либо встретиться с ним взглядом, как он сразу опускал веки. Чжао Чан несколько раз ставил этот опыт и все время с одинаковым результатом. У производил впечатление человека, утратившего ко всему интерес, опечаленного и больного. Добрых полчаса он сидел, уставившись куда-то за окно или в угол комнаты, и тогда лицо его выражало уныние и страх. Если его окликали или раздавался громкий звук, он вздрагивал всем телом, как напуганный воробей. Движения его были неловки, он ронял вещи на пол — верный признак того, что у человека мысли находятся где-то далеко. Окружающие давно привыкли к тому, что он не следит за своей внешностью, одевается неряшливо. Но, присмотревшись внимательно, Чжао Чан заметил нечто новое: лицо Чжунъи лоснилось, шея казалась черной,

в уголках глаз скопилась грязь. Видно, что он уже несколько дней не умывался как следует. Гребешок тоже давно не навещал его шевелюры, и волосы торчали в разные стороны, как стебли высохшей травы. Вдобавок он заметно осунулся. Скулы выступали над ввалившимися щеками, как рифы в пору отлива, глазные впадины почернели...

«Видать, бессонница,— думал Чжао Чан.— Но отчего, что он такого натворил?»

Жалкий вид У Чжуньи рождал в его сердце сочувствие. Что ни говори, за все десять лет совместной работы этот честный, добрый, уступчивый человек ни разу не давал повода всерьез рассердиться на него. Чжао даже подумалось — а что, если поговорить с У наедине, выяснить, что произошло, и попытаться помочь товарищу. Но в следующее мгновение он понял, что это невозможно. Если тот действительно провинился, он сам может оказаться втянутым в историю. Более того, нельзя исключить и то, что Чжуньи все-таки донесет на него. Чем серьезнее его дело, тем более вероятно, что он попытается таким способом облегчить свою участь. Чжао Чан, как и подобает научному работнику, был последователен в своих рассуждениях. Теперь ему предстояло добыть новые данные, чтобы сделать из них неопровержимые выводы.

Перед обеденным перерывом Цуй Цзинчунь вдруг вызвал У Чжуньи на беседу. Спустя несколько минут Чжао Чан тоже вышел и стал прогуливаться по коридору. Выяснилось, что Цуй и У беседуют в кабинете сектора региональных проблем. Чжао постоял перед дверью, но голоса были приглушены и ничего разобрать не удалось.

В столовой, наполненной вечно торопящимися сотрудниками и исходящим от котлов паром, Чжао Чан углядел Цуй Цзинчуна, одиноко сидевшего за дальним столиком. Держа в руках свою миску с рисом, он протиснулся к Цую, уселся рядом и после нескольких глотков потихоньку спросил:

— Чем это вы сейчас занимались с У Чжуньи?

Цуй Цзинчунь внимательно посмотрел на Чжао Чана и ответил безразличным тоном:

— Да ничем. Просто так разговаривали.

— И что он сказал?

Цуй опять посмотрел на собеседника и опять ответил равнодушно :

— Ничего особенного.

Было ясно, что он не намерен делиться с Чжао содержанием беседы.

Тот сразу же прикинул: не мог ли этот разговор касаться его, Чжао? В душе вновь ожило подозрение, что Чжуньи способен навредить ему. Чувство жалости к товарищу сменилось желанием поскорее доконать его, чтобы окончательно отвести от себя опасность. Наскоро пообедав, он помчался в рабочую группу, чтобы сообщить Цзя Дачжэню о сделанных им утром в секторе новой истории ценных открытиях. Тот выслушал сообщение, подперев рукой острый подбородок, а затем рассмеялся, довольный и радостный. Он был доволен проделанной Чжао Чаном работой и радовался, что вчерашние его тонкие наблюдения над У Чжуньи подтвердились.

— Надо сказать Цую, пусть немного нажмет на У.

— Боюсь, что Цуй Цзинчунь не самая подходящая для этого фигура,— произнес Чжао Чан и рассказал о таинственной беседе между Цуем и У в кабинете региональных проблем.— Вы вчера были абсолютно правы, Цуй Цзинчунь относится к ведению кампании спустя рукава, атмосфера в его секторе довольно прохладная. Да и моему приходу он явно не обрадовался.

Когда Цзя Дачжэнь сердился, его лицо становилось особенно неприятным. Сухо усмехнувшись, он сказал:

— Тогда я сам нажму на него. На завтра я запланировал один не совсем обычный митинг, начальство уже дало свое согласие. Вот увидишь, все придонные рыбы одна за другой выплывут на поверхность!

15

Сотрудники института истории, собравшись на следующий день во дворе, чувствовали себя как перед казнью.

Они сидели рядами прямо на земле. На цементированном возвышении перед задним корпусом располагался президиум экстренного митинга. Никаких украшений не было — тут уж не до эстетики. Как в артиллерии, принимаются в расчет лишь точность огня и его убойная сила.

Члены президиума располагались за желтым деревянным столом, ничем не покрытым; на нем стоял лишь примитивный микрофон, обернутый красной тряпкой и потому напоминавший барабанную палочку из тех, что используются во время праздничных шествий. На деревянных же стульях восседала пятерка институтских руководителей — все с каменными лицами, заранее возвещавшими аудитории, что никто не должен ожидать для себя ничего, кроме плохого. Именно так — нахмурив брови, устремив в одну точку взгляд, прогнав тепло улыбок и доброжелательность за тысячу ли — полагалось сидеть положительным персонажам предстоящей драмы.

Да, жизнь порой заставляет людей, осознают они это или нет, разыгрывать роли в спектаклях. Шуты нередко изображают серьезных персонажей, серьезные ситуации часто оборачиваются шутовством. Ты считаешь себя режиссером, указываешь другим, что и как играть, — а на деле ты лишь актер, исполняющий роль режиссера. И не на кого обижаться, ведь тебя самого распирало желание повелевать людьми, вырваться вперед других.

На возвышение энергичным шагом поднялся Цзя Дачжэнь, на этот раз в армейской фуражке цвета хаки. Минуты три он, вытянувшись в струнку, стоял рядом со столом, а весь двор ждал, затаив дыхание, когда он откроет рот. Вдруг он с силой опустил кулак на поверхность стола. Трах! Все вздрогнули, а он заговорил торжественно и сурово:

— Ввести сюда Цинь Цюаня и остальных трех бывших контрреволюционеров и правых элементов, упорствующих в своих реакционных взглядах!

Тотчас же из-за противоположного угла заднего корпуса появились одетые в армейские куртки члены институтского ополчения. С красными нарукавными повязками, на которых

значились иероглифы «Постовой», они шли попарно и тащили обвиняемых, заломив им руки за спину. Одновременно «лозунгщики» — мужчина и женщина, стоявшие по обеим сторонам трибуны, — начали выкрикивать призывы с тем, чтоб их повторяли все собравшиеся. Атмосфера сразу накалилась, сидевшие во дворе стали в такт лозунгам поднимать и опускать белые, круглые кулаки.

Находившийся в гуще людей У Чжунъи подумал, что через несколько дней и он, чего доброго, окажется на месте Цинь Цюаня, и весь покрылся холодным потом. Чжао Чан сидел рядом с ним и то и дело скашивал глаза, чтобы видеть выражение лица коллеги.

Четверых обвиняемых поставили перед президиумом и велели низко склонить головы. Судилище началось. Несколько активистов кампании накануне вечером получили задание подготовить обвинительные материалы. Всю ночь они строчили тексты своих выступлений и вот теперь поочередно поднимались на возвышение и суровыми голосами обрушивали брань на Цинь Цюаня и его товарищей по несчастью. Затем ополченцы под шумные возгласы собравшихся увели их обратно. Вновь появился Цзя Дачжэнь. Ему действительно нельзя было отказать в режиссерском таланте, в умении использовать настроение аудитории. Разыгрывавшийся до сих пор пролог должен был наэлектризовать собравшихся; только теперь начиналось основное действие, разработанное им во всех деталях. Опершись руками о стол, он заговорил:

— Мы только что провели борьбу против Цинь Цюаня и трех других подонков. Но настоящим объектом нашей нынешней кампании являются не они, а те враги, которые хорошо, даже слишком хорошо укрылись среди нас. Кампания длится уже почти неделю. Мы с самого начала разослали два вида бланков. Один для разоблачительных заявлений, другой для самокритики и признаний вины. Мы можем перед всеми рассказать о результатах — ведь у нас нет никаких секретов, мы работаем у всех на виду. Так вот: на сегодняшний день разоблачений и обвинений очень много, самокритики и при-

знаний вины очень мало. Основываясь на значительном числе разоблачительных заявлений (включая те, что были пересланы нам из других организаций), мы провели предварительное исследование внутри института и вне его. Уже первые результаты весьма обнадеживают! Они полностью подтверждают, что в нашем институте на самом деле притаилась группа старых и новых контрреволюционеров. Они и в данный момент сидят среди нас!

Подобные речи Цзя Дачжэнь не готовил заранее: в нужную минуту с губ его как бы сами слетали сильные действенные слова. И все замерли — как говорится, «и вороны, и воробьи лишились голоса». У Чжунъи казалось, что каждое слово нацелено прямо в него. В ушах звенело, но сквозь звон прорывались слова Цзя Дачжэня:

— Все эти дни мы не раз и не два обращались к этим людям, призывали их добровольно покаяться и тем самым заслужить снисхождение. Но все оказалось напрасным. Некоторые из этой публики полагают, что мы просто пугаем их и ничего страшного не случится — мол, пошумят и оставят их в покое. Другие же принципиально не желают признать за собой вины и готовы сражаться до последней возможности. Следовательно, нас вынуждают действовать. Время не ждет, больше нельзя сидеть сложа руки, нельзя либеральничать. Мы сегодня же вытащим на божий свет некоторых из них!

У Чжунъи превратился в подобие деревянной скульптуры. Только веки моргали время от времени, но глаза словно застыли, устремленные на возвышавшегося надо всеми Цзя Дачжэня. Сидевший рядом Чжао Чан тоже был очень обеспокоен. Конечно, сам Цзя Дачжэнь поручил ему быть возле Чжунъи и следить за ним — значит, он по меньшей мере не питал к нему недоверия. И все-таки теперешняя его речь вселяла тревогу. В такие времена каждый думает о себе, фортуна переменчива. Кто может поручиться, что Цзя не хочет усыпить его бдительность? Людей такого сорта до конца понять невозможно... Под лучами весеннего солнца на его выпуклом лбу выступили капельки пота, но то был холодный пот. А в ушах

звучал громкий голос Цзя Дачжэня:

— Чтобы дать этим людям последнюю возможность добровольно признаться в своих преступлениях, мы готовы подождать пять минут. Сейчас политический водораздел провести легче легкого: кто повинится сам — заслужит снисхождение, кого придется вытаскивать — с теми поступят по всей строгости. Итак,— тут он, как судья на легкоатлетических соревнованиях, поднял руку и стал смотреть на часы,— начали!

Словно за пять минут перед казнью, весь заполненный людьми двор замер в страхе. Цзя Дачжэнь возглашал:

— Осталось четыре минуты! Три! Две! Полторы! Полминуты! Пять секунд!

У Чжуньи безотчетно закрыл глаза, будто ожидая залпа нацеленных ему в грудь винтовок.

Трах! Цзя Дачжэнь снова ударил кулаком по столу и закричал:

— Вытащить сюда Ван Цяньлуна, элемента ϵ контрреволюционным прошлым!

Два ополченца с красными повязками, стоявшие поодаль, немедленно бросились в левую часть двора, расталкивая людей, схватили щуплого седого человека и приволокли его к возвышению. Лозунгщики достали заранее приготовленные тексты и начали выкрикивать призывы, которые все хором повторяли. У Чжуньи присмотрелся к схваченному и удивился про себя: то был старый научный сотрудник сектора истории династии Мин, человек опытный, осмотрительный, болезненный, занимавшийся одной наукой. Каким образом у него оказалось контрреволюционное прошлое?

Пока Ван Цяньлун стоял перед президиумом с опущенной головой, глаза Цзя Дачжэня, сверкавшие как огоньки из-под армейской фуражки, обшаривали весь двор. В конце концов они остановились на том секторе, где сидел У Чжуньи. Одной рукой он указал прямо в направлении Чжуньи, другой еще раз стукнул по столу. Сердце Чжуньи, казалось, перестало биться, но тут до него донесся голос Цзя:

— Вытащить сюда главаря реакционной организации, ак-

тивно действующего контрреволюционера Ван Цзихуна!

Значит, выстрел был нацелен в Ван Цзихуна, сидевшего непосредственно за У Чжунъи.

И опять подбежали двое ополченцев, словно цыпленка, подхватили Ван Цзихуна и протащили его мимо У Чжунъи в сторону президиума. Он встал рядом с Ван Цяньлуном. После этого взгляд Цзя Дачжэня, словно луч прожектора, стал обшаривать лица сидевших ближе к возвышению. И снова раздался удар по столу и окрик, и еще кого-то вытащили из толпы; весь двор продолжали сотрясать лозунги. В эти минуты Цзя действительно выглядел всемогущим и непобедимым: он был как пулеметчик перед толпой безоружных — кого вздумается, того и прикончит.

Когда его кулак был уже готов вновь опуститься на стол, из рядов вдруг поднялся круглоголовый человек в очках. То был Чжан Динчэнь. Едва он заговорил, стало ясно, насколько он перепуган, — голос его дрожал и прерывался, дыхание то и дело перехватывало:

— Я виноват... Когда в шестьдесят шестом году описывали мое имущество, я сдал лишь наличные деньги, а золотой браслет и колечко с изумрудом спрятал в ящик с углем. А еще... А еще я обругал революционные массы, которые описывали мое имущество... Я шепотом сказал жене, что это бандиты...

Чуточку помедлив, Цзя Дачжэнь произнес:

— Ты признался сам — отлично, мы это приветствуем. Выходи сюда и становись сбоку. Ну что, все видели? Политический водораздел проведен четко: разное поведение — разное отношение. Но я утверждаю, среди сидящих здесь есть еще и другие запятнавшие себя люди, есть контрреволюционеры! Если они немедленно не встанут и не покаются, мы начнем их вытаскивать!

Закончив речь, Цзя медленно обвел взглядом весь двор.

У Чжунъи не знал, куда деваться от страха, но заставить себя подняться и признать вину тоже не мог. Приводили в ужас возможные последствия этого шага, и в то же время теплилась надежда как-нибудь выкрутиться. Как и он, Чжао Чан впервые

подвергся такому жестокому испытанию. Только что рядом с тобой спокойно сидел человек, и вдруг ты слышишь его имя и видишь, как его тащат к трибуне, как он стоит там с видом приговоренного к смерти,— выдержать такое и вправду нелегко. Тем более он знал за собой грех и опасался в любую секунду услышать собственное имя. Ему даже пришла в голову отчаянная мысль — потихоньку спросить У Чжуньи, писал ли тот на него донос. Если скажет, что писал,— тут же встать на колени и повиниться перед всеми. Но постепенно разум и опыт взяли верх над растерянностью и страхом. Он успокоился и принял твердое решение: пусть лучше вытаскивают и судят по всей строгости, чем добровольно, из трусости, погубить себя, поддавшись на обман и шантаж Цзя Дачжэня.

Пот на его лбу стал собираться в крупные капли и стекать по щекам. У него не было с собой носового платка, и Чжао протянул руку к Чжуньи. Однако не успел он попросить платок, как вновь раздался удар кулаком о стол. Он вздрогнул.

Вздрогнул и У Чжуньи. Не помня себя, он схватился за протянутую руку Чжао Чана. Тот ощутил в своей ладони ледяную, дрожащую, покрытую липким потом руку коллеги, и ему стало ясно: у Чжуньи за душой и вправду была какая-то необычная, ужасная тайна.

Цзя Дачжэнь велел вытащить еще одного человека — на этот раз юношу, заведовавшего хранением научных материалов. Его обвиняли в том, что он как-то произнес одну ошибочную фразу,— Чжао Чан знал об этом, поскольку читал поданный на юношу донос в то время, когда находился в рабочей группе.

Когда У Чжуньи увидел, что беда опять миновала его, на сердце немного отлегло. Но он не мог знать, что одним неосторожным движением руки он поставил себя рядом с этим юношей. После митинга Чжао Чан тотчас же сообщил Цзя Дачжэню о том, как вел себя У Чжуньи. Тот немедленно принял решение: воспользоваться тем психологическим давлением, которое митинг оказал на У Чжуньи. и во что бы то ни стало выведать хранимую им тайну.

Спустя четверть часа Цзя Дачжэнь вместе с Чжао Чаном появился в кабинете сектора новой истории. Вид у них был, как у агентов полиции, ворвавшихся в дом с ордером на арест. У Чжуньи почуял, что пришли по его душу. Он лишь раз посмотрел на Цзя Дачжэня и больше не поднимал глаз.

— В чем дело?— спросил Цуй Цзинчунь.

— Поговорить надо!— ответил Цзя, смерив его недовольным, раздраженным взглядом. А затем добавил, сделал соответствующий жест рукой:— А вы все садитесь, садитесь!

Все сели... Сердце у каждого билось в тревоге. У Чжуньи нарочно сел позади пожилого сотрудника по имени Му — за его широкой спиной можно было чувствовать себя чуть-чуть спокойнее.

— Все присутствовали на только что закончившемся митинге?— спросил Цзя Дачжэнь.

Никто не решился подать голос. Цзя Дачжэнь повернулся в сторону Цуй Цзинчуна, показывая этим, что вопрос был адресован ему. Тот ответил равнодушно:

— Так ведь нельзя было не присутствовать!

Как показалось Цзя Дачжэню, в этих словах прозвучал явственный вызов. Он сейчас находился в таком взвинченном состоянии, что задевать его было опасно — он в любой момент мог вспыхнуть. Но он знал, что на испуг Цуй Цзинчуна не возьмешь, да и вообще он считал нужным быть повежливее с теми, к кому он еще не подобрал ключей. Поэтому он сдержался, и вместо готовых было сорваться с языка обидных слов у него откуда-то из гортани донесся низкий, пугающий звук. Помолчав немного, он обратился к аудитории, а поскольку он был не на шутку сердит на Цуя, речь его получилась еще более жесткой, злобной и угрожающей, чем обычно:

— Цель нашего прихода вполне определенная. В вашем секторе скрывается плохой человек. Пока не будем говорить о тяжести его вины. Скажем о главном — о том, что этот че-

ловек очень неискренен, притворяется тихоней, а сам все еще вредит исподтишка. Он все время пытается угадать, есть ли у нас на него материал. Так вот, пусть он знает: все доказательство уже у меня в руках!

«Все пропало!» — подумал У Чжуньи и стал ждать, когда Цзя Дачжэнь произнесет его имя. Он безостановочно тер руками свои колени, так что брюки промокли от пота. Эта деталь тоже не ускользнула от цепких глаз Цзя Дачжэня. Он пренебрежительно хмыкнул и продолжал:

— Сказать по правде, я собирался вытащить его прямо на митинге, но потом решил еще раз дать ему возможность самому прийти с повинной. Но я должен сказать этому человеку со всей определенностью: наша снисходительность уже на пределе. Пойти дальше означало бы впасть в правый уклон (эти слова предназначались для Цуй Цзинчуня). С пролетарской диктатурой шутки плохи. Я даю тебе еще два часа на размышление. Если не явишься с чистосердечным признанием — пеняй на себя. После обеда соберем митинг специально для того, чтобы разоблачить тебя. Все, я кончил.

Цзя Дачжэнь скользнул взглядом по У Чжуньи, склонившемуся за спиной Му, и добавил:

— Чтобы ты не питал более надежд остаться неузнанным, я поясню собравшимся: речь идет о том из вас, который всем кажется самым безобидным!

Он подал Чжао Чану знак следовать за собой и покинул помещение.

Не поднимая головы, У Чжуньи почувствовал, что все смотрят на него. Потолок закружился у него над головой, в глазах потемнело. Он, словно пьяный, покачнулся и, собрав остатки воли, ухватился за край стола, чтобы не упасть.

А тем временем Цзя Дачжэнь, идя по коридору с Чжао Чаном, говорил ему:

— Вот увидишь, скоро он сам к нам прибежит!

Вдруг позади них хлопнула дверь — это Цуй Цзинчунь быстро вышел из кабинета и стал их догонять.

— Цзя, старина!

— В чем дело?— теперь уже Цзя, остановившись, задал этот вопрос.

Явно взволнованный, Цуй Цзинчунь заговорил:

— Я не могу согласиться с твоим образом действий. Ты создаешь белый террор, идешь вразрез с курсом партии!

Тонкие брови Цзя Дачжэня полезли на лоб. Зловещим тоном он спросил:

— Ты за кого заступаешься? Тебе непонятно, что речь идет о классовой борьбе? Может, тебе она претит?

— Нельзя вести классовую борьбу с помощью шантажа и запугивания! Ты посмотри, до чего люди дошли — самих себя боятся!

— Дорогой товарищ Цуй, мне кажется, надо разобраться — на чьей стороне твои чувства. Подумай только, что ты говоришь! Кому выгодны твои слова? И какие люди боятся самих себя? Боятся те, кто чувствует за собой вину. А если не выявлять виновных, то какой смысл вести кампанию? На протяжении стольких лет мы ведем одну кампанию за другой, а ты даже элементарного представления о классовой борьбе не выработал.

Всегда сдержанный и спокойный, Цуй Цзинчунь впервые предстал в другом облике: слова Цзя Дачжэня так возмутили его, что у него задвигался подбородок, задрожали руки, в стеклах очков заплясали лучи света, падавшего через дверь в конце коридора. Простояв секунд десять, он резко повернулся и быстро зашагал, бросив на прощание:

— Я пошел к руководству. У тебя левый уклон! Ультралевый!

— Цуй, подожди, подожди!— закричал Чжао Чан, надеясь остановить заведующего сектором.

Но Цзя Дачжэнь схватил его за руку:

— Пусть себе идет, не обращай внимания! Руководство его не поддержит. Когда идет кампания, ни один руководитель не посмеет препятствовать ее развертыванию. Напрасно время потратит! Ничего, вот я вытащу У Чжунъи, а потом и с ним рассчитаюсь.

В одиннадцать утра У Чжунъи с разбитым сердцем, полный отчаяния, поднимался по высокой цементной лестнице заднего корпуса, только что доведенной до идеальной чистоты с помощью древесных опилок. Медленно переступая со ступени на ступень, он добрался до третьего этажа.

Там стояла тишина. Вдоль обращенной на юг стороны широкого коридора шел ряд закрытых дверей, ничем не отличавшихся друг от друга. В этих кабинетах обычно никто не работал: там хранились редкие издания, старая периодика; свалены поломанная мебель и нуждавшиеся в починке книжные полки, праздничное оформление — разноцветные фонари, флажки и портреты, покрывшиеся пылью предметы старины и вообще всякая рухлядь. В двух комнатах когда-то жили одинокие сотрудники или те, чьи семьи находились в других городах, но еще до культурной революции эти комнаты опустели — сотрудники либо поженились, либо сумели перевестись в родные места. С тех пор там стояли пустые кровати и тазики для умывания, да еще валялись выброшенные холостяками старые туфли и носки. Через комнаты все еще была натянута проволока, на которой сушились полотенца... Мало кто заглядывал в эти комнаты, разве что в разгар летнего зноя некоторые сотрудники, жившие далеко от института, поднимались на третий этаж, расстилали на полу в коридоре газеты и наслаждались послеобеденным сном. Там было прохладно и покойно, а если оставить открытыми окна в концах коридора, можно было даже создать приятный сквозняк. Люди чувствовали себя там как на курорте, и оттого эта часть института получила прозвание «Бэйдайхэ»*...

Несколько дней назад комната в дальнем конце коридора была освобождена от всего старья, в нее втащили два сейфа с двойными замками, четыре письменных стола и несколько

* Бэйдайхэ — климатический курорт на побережье Желтого моря, где отдыхают преимущественно высокопоставленные работники, члены дипкорпуса и т. п.

стульев. Там разместилась рабочая группа, и с той поры атмосфера на третьем этаже изменилась.

Добрых два часа в душе У Чжунъи шла отчаянная борьба, которая доконала его. Теперь он уже не сомневался, что несчастное письмо лежит у Цзя Дачжэня. Он прогнал прочь все самоуспокоительные гипотезы и надежды на неожиданно благоприятный поворот событий. Последняя речь Цзя Дачжэня, полная неприкрытых угроз, уничтожила еще теплившуюся надежду как-нибудь отсидеться, выиграть время. Он явился с повинной.

И все-таки перед закрытой дверью рабочей группы его вновь охватила неуверенность. Он дважды поднимал свою ледяную руку, но так и не решился постучаться.

За дверью сидело двое — Цзя Дачжэнь и Чжао Чан. Они ждали У Чжунъи — так браконьеры, бросив в воду динамит, ждут, когда начнет всплывать оглушенная рыба.

Цзя слышалось, что за дверью кто-то есть. В его тусклых глазах сразу появился блеск. Но прошло полминуты, а дверь все не открывалась. Тогда он нарочито громко обратился к Чжао Чану:

— Ну что ж, раз он не является, после обеда устраиваем митинг.

Чжао Чан не понял, почему он заговорил так громко, но тут в дверь постучали.

— Войдите! — тотчас же отозвался Цзя Дачжэнь — так рыбак торопится дернуть удочку, почувствовав, что рыба забилась на крючке.

Ручка повернулась, дверь открылась. Вошел У Чжунъи и с мертвенно-бледным лицом остановился возле стола Цзя Дачжэня. Только теперь Чжао Чан понял, зачем Цзя повышал голос, и подивился находчивости и сметливости руководителя рабочей группы. Цзя Дачжэнь с каменным лицом спросил У:

— Зачем пожаловал?

— Я... я... — У Чжунъи заколебался, уже приготовленные слова о признании вины застряли на кончике языка. — Я пришел посоветоваться по идеологическим вопросам...

— Что?!— Цзя Дачжэнь вопросительно посмотрел на него.— Ну давай говори.

Нервно потирая руки, У сказал:

— Я не разобрался в некоторых идеологических проблемах.

— Каких проблемах?

— Нет, сейчас я разобрался. Это было раньше, когда я был молод, учился в университете... Я считал, что наше государственное устройство не вполне совершенно... Кроме того, я...— У Чжуньи говорил совсем не то, что готовился сказать, поэтому с трудом выдавливал из себя слова.

Как опытный человек, Цзя Дачжэнь сразу понял, что в душе У инстинкт самосохранения ведет последнюю борьбу. Нетерпеливым жестом он велел ему замолчать, напустил на себя рассерженный вид и заговорил сурово:

— Ты что же, решил проверить нас? Можешь быть уверен, в твоём вопросе мы давно разобрались. Выступая у вас на секторе, я имел в виду именно тебя. А ты все еще продолжаешь свои фокусы, даже посмел явиться в рабочую группу прощупать наши настроения! Видать, тебе очень хочется, чтобы с тобой поступили по всей строгости. Все время ты притворялся слабеньким, незаметным, добропорядочным, а у самого реакционный лоб тверже любого гранита! Эти твои воспоминания меня не интересуют, можешь поделиться ими с Чжао Чаном!

Продолжая разыгрывать гнев, он поднялся и пошел к двери, но перед уходом успел поверх худых плеч У Чжуньи подать Чжао Чану знак, чтобы тот еще поднажал на бывшего приятеля.

18

В комнате остались лишь У Чжуньи и Чжао Чан — двое давних, добрых друзей. Радужным жестом жирной руки Чжао Чан пригласил его сесть, как будто они вновь, как бывало раньше, собрались скоротать вечер. На Чжуньи это подействовало, словно поток теплого воздуха на окоченевшего человека. Он

не выдержал и расплакался. Всклипывая, он произнес:

— Старик, мне больше не хочется жить...

У Чжао Чана где-то глубоко внутри шевельнулась совесть. Теперь все приметы подсказывали, что Чжуньи вовсе не доносил на него. Необычное поведение приятеля, которое Чжао истолковывал как следствие совершенного им предательства, на самом деле объяснялось охватившим его страхом. А он, неверно поняв Чжуньи и понапрасну на него разозлившись, сделал все, чтобы довести его до такого жалкого состояния. Нетрудно было догадаться, что стоит Чжуньи признаться в чем-нибудь — пусть даже в одной вырвавшейся у него предосудительной фразе, — как на него обрушится массивный удар, его доброе имя погибнет и с ним самим будет покончено раз и навсегда. Он смотрел, как Чжуньи размазывает худыми пальцами слезы по плохо вымытому лицу, и думал о том, что за все эти годы он не видел от Чжуньи ничего, кроме доброжелательности, бескорыстия, снисходительности и готовности помочь. Он почувствовал себя подлецом. Но дело уже сделано, назад ничего вернуть нельзя. Он хотел было ободрить Чжуньи, но осторожность подсказала ему, что Цзя Дачжэнь может стоять за дверью. Чжао Чан подавил в себе прорвавшееся было сочувствие и сказал:

— Не говори вздора, при чем тут жить или умереть. Не об этом надо думать! Если тебе есть в чем признаваться — выскажись, и дело с концом. Уверен, что с тобой ничего не случится!

Кроме Чжао Чана, вокруг У Чжуньи не было ни одного человека, которому он мог бы доверять. Он взмолился:

— Старик, скажи мне правду: Цзя Дачжэнь знает обо мне что-нибудь?

Чжао Чан заколебался на мгновение, но, бросив быстрый взгляд на закрытую дверь, ответил нарочито громким голосом, чтобы было слышно тому, кто может за ней стоять:

— Скажу тебе все, как есть. Твое дело известно Цзя Дачжэню от начала до конца. Признаешься добровольно — можешь заслужить снисхождение, ведь так?

Слова доброго приятеля как будто подтолкнули Чжуньи, долго бродившего по берегу, броситься в воду — он услышал в них обещание помочь в случае, если будет тонуть. Благодарные слезы выступили у него на глазах, быстро скатились по щекам и упали на пол.

— Будь по-твоему. Я готов сознаться!

Едва У Чжуньи произнес эти слова, дверь распахнулась, и вошел Цзя Дачжэнь с сигаретой в руке. В коридоре стоял густой дым — несомненно, все это время Цзя простоял возле дверей. Чжао Чан поздравил себя с предусмотрительностью, не давшей ему расчувствоваться перед Чжуньи. Подумать только, какую беду он бы навлек на себя! Он повернулся к Цзя Дачжэню и, как бы заступаясь за бывшего приятеля, сказал:

— Ну вот, У Чжуньи все понял. Он сам, добровольно, готов рассказать правду.

У Чжуньи вскочил было, но Цзя Дачжэнь движением руки усадил его обратно. Он сел за свой стол и, морщась от дыма торчавшей в углу рта сигареты, достал из ящика пухлое дело. Полистав его, он сказал, даже не взглянув на У Чжуньи:

— Начинай! А ты, Чжао Чан, будешь протоколировать.

У Чжуньи пролепетал, все еще роняя слезы:

— Цзя, старина, я ведь старательно работал в институте!

Цзя махнул рукой и холодно отрезал:

— Сейчас не время об этом. Давай выкладывай, что там у тебя.

Как человек, который, зажмурившись, бросается с обрыва, У Чжуньи стал изливать все, что накопилось на душе, ни о чем больше не думая. Чжао Чан быстро записывал за ним, царапая шариковой ручкой бумагу; на лице его то и дело возникало удивленное выражение. Цзя Дачжэнь непрерывно курил, а свободной рукой перелистывал материалы дела. Всем своим видом он показывал, что в словах У Чжуньи для него нет никаких откровений, что все это давно знал сам. Стоило У Чжуньи запнуться в своих показаниях, как на лице Цзя появилась ироническая усмешка; чтобы завоевать его доверие, Чжуньи старался рассказывать обо всем как можно более полно

и откровенно. И только говоря о беседе десятилетней давности в доме Чэнь Найчжи, он опустил некоторые подробности, касавшиеся старшего брата. Наконец он дошел до потерянного письма.

— Честное слово, я нигде не мог его найти!

Цзя Дачжэнь перестал перелистывать дело, пристально посмотрел на У Чжуньи и остановил собиравшегося что-то сказать Чжао Чана:

— Нет, пусть он доскажет!

— Выходя из дома в то утро, я положил его в карман, а когда подошел к почтовому ящику, его там не оказалось. Наверное, выронил по дороге!

Цзя Дачжэнь сделал несколько затяжек, как бы обдумывая какую-то проблему, а потом спросил, глядя Чжуньи прямо в глаза:

— Ты, наверное, решил, что кто-нибудь подобрал письмо и принес сюда к нам.

— Ну да, ведь я положил его в служебный конверт. Любой мог прочесть обратный адрес и принести в институт.

Цзя Дачжэнь захлопнул дело и с самым довольным видом произнес:

— Что ж, ты был прав. Здесь оно, твое письмо! И не только письмо, но и разоблачительный материал на тебя, присланный из организации, где состоит тот самый Чэнь. Все в этом деле!

Он похлопал ладонью по толстой пачке бумаг и спросил, не хочет ли У Чжуньи лично убедиться в этом. Утвердительный ответ означал бы, что У не доверяет ему, и тот лишь робко покачал головой.

Заканчивая протокол, Чжао Чан решил, что У Чжуньи окончательно погубил себя, что впереди у него — мрачная пустыня. Теперь он, Чжао, должен подумать о том, как бы вырыть возможно более широкий ров между собой и бывшим другом, оказавшимся таким незадачливым.

Время неслось быстро — вот уже прозвенел звонок на обеденный перерыв. От долгой исповеди во рту Чжуньи пересохло,

и он попросил воды. Цзя Дачжэнь спрятал дело в ящик и встал. На лице его была написана такая радость, как будто ему в руки сам упал предмет его давних вожеланий.

— Что ж, сегодня ты наконец-то проявил себя сравнительно хорошо. Конечно, пришлось надавить на тебя, но все же будем считать, что ты признался добровольно. То, что ты рассказал нынешним утром,— лишь малая часть вопроса, о котором нам известно из поступивших материалов. Пока что ты должен представить нам свои показания в письменном виде. Пиши только о фактах — твои нынешние мысли по этому поводу нас пока не интересуют. Пиши отдельно о своем брате, о Чэнь Найчжи и прочих, четко и конкретно — где, когда, в чьем присутствии, кто допустил те или иные сомнительные высказывания. Кроме того, напиши еще раз текст потерянного тобой письма — я хочу проверить, насколько точен ты в своих признаниях. Ну, ладно! Можешь идти в пустой кабинет своего сектора и писать там. Обед тебе принесут.

Перед У Чжунъи легла пачка бумаги.

Ему показалось, что в этой пачке его смерть.

19

Цзя Дачжэнь со скучающим видом пробежал глазами переписанное У Чжунъи письмо, стараясь дать понять, что уже не раз читал оригинал. На самом деле в письме было много для него неожиданного, и в глазах его то и дело возникал малозаметный для посторонних блеск. Бросив копию письма на стол, он повернулся к Чжунъи:

— Ты утверждаешь, что все изложил правильно?

— Конечно, правильно, стал бы я что-нибудь менять! Ведь оригинал у вас, можете проверить.

Цзя Дачжэнь удовлетворенно кивнул головой. Копию письма вместе с десятком страниц показаний У Чжунъи он положил в ящик стола и пошел довольный, как охотник, в заплечном мешке которого валяется только что подстреленный заяц.

После обеда началось заседание рабочей группы. У Чжунъи было велено оставаться на своем месте и продолжать писать показания.

Он сидел в давно ставшем привычным кабинете на своем обычном месте. Стояла тишина, и могло показаться, что вновь вернулись спокойные, заполненные работой дни. Нежаркие лучи послеполуденного солнца падали на его лицо, на лежавшую перед ним на столе грудку книг с закладками. Эти книги он использовал для завершения работы над одной очень интересной темой. Но теперь все это ему уже не принадлежало. Его ожидали гневные возгласы, бесконечные проверки и недостойная человека жизнь, в которой у него не будет ни самоуважения, ни свободы.

Ему вспомнилась Ли Юйминь. После возникшей между ними размолвки они больше не встречались, но ему уже был ясен финал их романа. Он дважды собирался пойти к Ли Юйминь и попытаться как-нибудь, намеками объяснить ей свое положение или же придумать какой-либо предлог, чтобы прекратить встречи. Но у него не хватило мужества. Ему так не хотелось собственными руками губить эту нелегко доставшуюся радость! Но теперь придется сказать. Ведь если сравнить его жизнь с деревом, сейчас на нем засохло все — и листья, и цветы, и едва завязавшиеся плоды, и только что появившиеся ростки.

Около четырех он увидел в окно, что на переднем дворе несколько человек развешивают лозунги и дацзыбао. Вдруг глаза его застыли от изумления — на транспаранте стали видны крупные иероглифы: «Решительно разоблачим избежавшего кары правого, активно действующего контрреволюционера У Чжунъи!» В голове зазвенело, показалось, что ноги размякли и не могут больше держать его, руки, шея, колени перестали ему подчиняться. Собственно говоря, это событие нужно было предвидеть, и все равно оно оказалось полной неожиданностью.

Не прошло и получаса, как двор был оклеен дацзыбао, почти сплошь направленными против Чжунъи. Начали собираться люди.

Он опять подумал о Ли Юйминь. Надо поскорее кончить это безнадежное дело. Он подбежал к двери, выглянул — в коридоре никого не было. Мигом вернувшись обратно, он совершил свой самый смелый поступок за десять лет — схватил телефон и набрал номер библиотеки. На том конце провода сразу ответили, и, на счастье, это оказалась сама Ли Юйминь. Он даже не поверил, что ему может так отчаянно везти.

— Это У Чжунъи.

— В чем дело?— Голос девушки звучал холодно, видно, она еще не перестала сердиться на него.

У Чжунъи не стал пускаться в разъяснения, сказав лишь:

— После работы приходи к воротам моего учреждения, я буду ждать. Приходи обязательно, я должен сообщить тебе важную вещь. Очень важную! Непременно приходи!

Он еще никогда не разговаривал с людьми в таком приказном тоне. Не дожидаясь ответа, он положил трубку, боясь, что кто-нибудь войдет в кабинет. Пока он нес трубку от уха к аппарату, до него донеслось:

— Да что случилось? Алло...

Спустя еще полчаса наступил конец рабочего дня. Он стоял у окна, спрятавшись за занавеской, и выглядывал из-за нее одним глазом. Сотрудники потянулись к воротам, некоторые толкали перед собой велосипеды. Кое-кто останавливался во дворе и читал свежие дацзыбао с именем, намалеванным размашистыми знаками. Ему представилось, насколько все они удивлены.

Затем он заметил женскую фигурку, стоявшую за воротами. Красноватый нейлоновый платок на голове, блестящий черный портфельчик в руке — это она, Ли Юйминь! Она вертела головой, пытаясь заглянуть во двор, но ей мешали выходявшие из института сотрудники.

У Чжунъи вдруг охватило раскаяние — зачем он вот так, сра-

зу, сообщает ей обо всем, зачем уничтожает собственный образ в ее сердце. И тут он увидел, как раскрылись в испуге ее рот и глаза, как она застыла, словно одеревеневшая. Ясно было, что она увидела заполнившие двор дацзыбао с проклятьями в адрес У Чжунъи. Проходившие мимо стали с любопытством оборачиваться на девушку. Она резко повернулась и поспешила прочь, опустив голову. Черный портфельчик подскакивал при каждом ее шаге.

У Чжунъи смотрел, как исчезает ее фигурка.

В его жизни погас последний светильник.

Всего несколько дней назад его навещали наивные и нелепые мысли; ему начинало казаться, будто все, что с ним происходит, — лишь тяжелый сон. Стоит ему проснуться, как уплывут тучи и рассеется мгла. Но действительность развеяла эти иллюзии. Если сейчас он еще мечтал о чем-нибудь, то лишь о том, чтобы неминуемые удары и мучения обрушились на него немного попозже.

Вскоре в кабинет бесцеремонно вошел здоровенный мужик средних лет с маленькими глазками и коротко остриженной головой. То был институтский хозяйственник, завскладом по имени Чэнь Ганцюань. Человек недалекий и грубый, он жил одиноко, был вспыльчив и задирист, но к У Чжунъи — быть может, из-за его робости — обычно относился неплохо. Во время междоусобной борьбы он возглавил «ударный отряд» во фракции Цзя Дачжэня и Чжао Чана, за что был прозван «Чэнь, что жизни не жалеет». После этого он стал исполнять обязанности руководителя группы надзора и перевоспитания. Чтобы соответствовать этой необычной должности, он, сам того не замечая, напустил на себя суровый, безжалостный вид. Вот и сейчас он без лишней дипломатии обратился к У Чжунъи:

— Цзя сказал, что тебе больше не разрешается уходить домой. Будешь под моим началом. Иди за мной, да побыстрее!

Теперь У Чжунъи не оставалось ничего другого, как выполнять чужие распоряжения. Через пять минут он сидел рядом с Цинь Цюанем.

Наконец-то он успокоился.

До сих пор он, словно подхваченная порывом вихря птица, кувыркался в воздухе, падал и подымался, пытался найти опору крыльям. Но теперь он на земле, ниже некуда, хуже не будет, так что нечего больше опасаться, незачем рисовать себе всякие ужасы.

Жилось ему хуже собаки. Целыми днями торчать в группе надзора и перевоспитания, велят выйти — выходить, велят вернуться — возвращаться... Все тобой помыкают, все командуют и бранят. Нельзя переспрашивать, нельзя оправдываться или спорить, тем более нельзя сердиться. Начнешь показывать характер — навлечешь еще большие неприятности, получишь еще более строгое взыскание. Хуже всех был надзиравший над ними Чэнь Ганцюань. Не зная, куда девать избыток энергии, он развлекался тем, что мучил людей.

Однажды У Чжунъи нечаянно задел его и тут же получил удар кулаком по руке. От удара был вывихнут и сильно распух безымянный палец; потом он так и остался искривленным. Этого внушения У Чжунъи уже не сможет забыть. Людям, оказавшимся в положении У Чжунъи, оставалось одно — обкатать свой характер так, чтобы не оставалось углов, отбросить в сторону самоуважение, наплевать на свое человеческое достоинство, кивать в ответ на любое грубое, несправедливое обвинение, делать вид, что с радостью приемлешь наставления, — только так можно было выжить в этих условиях. Чжан Динчэнь, к примеру, не испытывал в группе ни малейших неприятностей.

У Чжунъи с его характером вроде бы тоже не должен был особенно страдать, однако же ему порядком доставалось. Скорее всего потому, что он поначалу старался выгородить брата, пытался сделать так, чтобы его показания не отразились на судьбе самого близкого ему человека. Но разве он мог это сделать? Прежде всего, события, о которых он рассказывал, были внутренне связаны между собой, от одного факта тянулась

ниточка к другому. Например, из содержания потерянного письма было нетрудно догадаться, о чем писал брат, и Чжуньи не мог отпереться. Во-вторых, чем больше скрытничал Чжуньи, тем более изощренные, жестокие способы воздействия пускал в ход Цзя Дачжэнь. А поскольку его неудержимая наступательная тактика располагала солидной поддержкой дубинок, он заставлял противника с позором оставлять одну оборонительную позицию за другой. Кончилось тем, что У рассказал и о созданном братом вместе с Чэнь Найчжи «Обществе любителей чтения», и обо всем, что сказал брат в тот памятный вечер...

После этого его на два месяца, можно сказать, оставили в покое. Правда, вместе с Цинь Цюанем и прочими вытаскивали на общеполитинститутские собрания критики и борьбы, но в остальное время почти не допрашивали. По-видимому, рабочая группа командировала своих представителей в организации, где работали его брат и Чэнь Найчжи, для проверки фактов и сбора новых материалов. Все это время не было видно Чжао Чана. Но спустя еще некоторое время Чжуньи столкнулся с Чжао, когда подметал институтский двор. Тот осунулся, загорел до черноты и стал похож на закопченный печной горшок. Через несколько дней над У Чжуньи снова разразилась гроза: день за днем его опять таскали на допросы, иной раз затягивавшиеся до полуночи. А чтобы усилить нажим, параллельно проводили митинги критики и борьбы, которые довели его до полного упадка сил.

Цзя Дачжэнь представил целую кучу новых материалов — разоблачений Чжуньи, сделанных бывшими участниками «Общества любителей чтения». Что ж, он обличал их, теперь они отвечали тем же. Каждый материал занимал по меньшей мере пять-шесть страниц. Чэнь Найчжи расписал его высказывания насчет государственного устройства на целых четырнадцати страницах. Несомненно, многое в этих материалах было продиктовано чувством мести за то, что он продал товарищей. Времени прошло немало, многое из говорившегося тогда он уже не мог припомнить, но все-таки ему при-

шло расписаться и поставить отпечаток пальца на каждом из материалов, подтверждая тем самым их достоверность.

Поначалу, когда его вынудили донести на брата, он испытывал угрызения совести, сознавая свою вину. Думая о том, что его донос принес новые страдания брату и невестке, он доходил даже до мыслей о самоубийстве. Ему было ясно, что отныне брат и невестка порвут с ним всякие связи, и он стыдился самого себя. Эгоистичный, трусливый, жалкий шут, у которого нет мужества и решимости оборвать эту жизнь... Но теперь, когда Цзя Дачжэнь сообщил, что брат тоже написал на него большой материал, ему стало легче. Правда, из слов Цзя Дачжэня нельзя было понять, что именно донес на него брат. Все же Чжунъи изо всех сил старался уверить себя, что тот в самом деле виноват перед ним. Этим вроде бы несколько смягчалась непростительная вина его самого, предавшего родного человека. Узнать бы, где сейчас брат и невестка, что с ними...

22

В начале осени по институту волной прокатилась новая кампания. Опять одного за другим стали вытаскивать людей. Дацзыбао во дворе шумели о борьбе «с правым уклоном», требовали «отбросить в сторону пути, сковывающие движение вперед». Кто имелся в виду, было неясно. Цинь Цюань прошептал на ухо У Чжунъи, что «борьба с правым уклоном» нацелена против заведующего сектором новой истории Цуй Цзинчуна и одна из причин состоит в том, что в деле У Чжунъи он, Цуй, проявил мягкотелость, мешал развитию кампании, защищал плохих людей. Это Цинь Цюань выяснил из разговора двух сотрудников, пришедших за кипятком, когда он работал в котельной. В словах сотрудников чувствовалось глубокое недовольство положением в институте, но дальше частных разговоров дело, очевидно, не шло.

Через несколько дней появилась новая дацзыбао, в которой Цуй Цзинчунь был назван по имени. Но не успел подняться большой шум, как пришла еще более поразительная новость — оказался «вытащенным» заместитель председателя ревкома

некий Гу Юань. Говорили, что он являлся «черным закулисным заправилой» враждебной Цзя Дачжэню фракции. Гу Юаня немедленно отправили в группу надзора и перевоспитания, и он оказался рядом с У Чжунъи и Цинь Цюанем. В связи с этим разговоры вокруг дела Цуй Цзинчуня приумолкли.

Поднадзорных и перевоспитуемых с каждым днем становилось больше и больше. Для группы выделили еще одно помещение, но и оно скоро оказалось переполненным. Здесь, в группе, был один мир, там, за ее пределами — другой. Но этот мир явно собирался поглотить тот.

Нововытащенные заменили собой У Чжунъи — этот бывший «гвоздь сезона» уже не вызывал прежнего интереса. Он стал залежавшимся на полке товаром — никто не берет, а выбросить жалко. Жилось ему уже повольготнее — во всяком случае не приходилось спрашивать разрешения у Чэнь Ганцюаня, чтобы сходить в сортир. Но домой отлучаться все же не разрешалось. Однажды он простудился и вдобавок его прохватил сильный понос. Тогда рабочая группа смиростивилась и дала увольнительную на один час — сходить в медпункт.

Он побывал у врача, получил лекарства и неторопливо отправился в обратный путь. Стояла уже поздняя осень. Листья старых акаций свернулись, высушенные ветром, и один за другим неслышно падали с ветвей. Они уже устилали всю землю и шелестели при каждом шаге. По необыкновенно далекому небу цвета синей глазурованной черепицы проплывали белоснежные сверкающие облака, похожие на надутые ветром паруса. Сочетание желто-красных деревьев, синевы неба и белизны облаков создавало восхитительную картину осени.

Осень, когда природа зовет к отдохновению, покою и безмятежности, так отлична от лета с его суетой, преувеличенностью, напряженностью! И солнце не так назойливо жжет людей своими лучами, как в дни футяня*; оно лениво гладит лицо, становится мягким и уютным. У Чжунъи впервые оказался на улице после шести месяцев заключения и по-особенному ощутил

* Футянь — самая жаркая часть лета, первая половина августа.

сладость жизни и ценность свободы. Ему вдруг вспомнился его дом, где он так давно не был, его заваленная хламом, запыленная комната. Так улетающая на юг ласточка вспоминает свое прежнее гнездо. Ему захотелось заглянуть домой, но он не посмел. Он находился всего в трех-четыре кварталах от дома, но для него это расстояние было так же непреодолимо, как бурный Тихий океан или уходящие в небо горы. Ему подумалось — вот если бы он жил в большом корпусе, этажей в пять, он смог бы увидеть хотя бы крышу.

Он шагал, задумавшись, но вдруг остановился, почувствовав, что на его пути стоит человек. Сначала он увидел пару ног — худых, в стареньких матерчатых туфлях, обтрепанных, с кожаными заплатками на носках. Тогда он поднял глаза, и его взгляду предстало высухшее, черно-желтое, изможденное лицо женщины.

— Невестка! — вздрогнув, закричал он.

То была жена брата. Побелевшая от стирок ватная куртка, небрежно собранные на затылке волосы. И глаза — такие знакомые! Но не было в них уже той теплоты и сочувствия, к которым он привык. Широко раскрытые, они смотрели на него гневно, пугающе — и ему было понятно почему.

— Ты что — приехала навестить родных? — спросил он в растерянности.

Невестка, ничего не ответив, продолжала неотрывно смотреть на него. Он видел, как дрожали ее плотно сжатые губы, худенькие плечи и все тело — видно было, как она пытается перебороть охватившее ее волнение. Вдруг глаза ее запылали ненавистью, она размахнулась и вlepила У Чжунъи две звонкие пощечины — по обеим щекам, бах, бах!

Щеки его запылали, в ушах зазвенело, в глазах потемнело. Некоторое время он стоял как оглушенный, а когда пришел в себя, невестки перед ним уже не было. Он повернулся и увидел, как она удаляется по спокойной, безлюдной, залитой солнцем улице.

Он продолжал стоять. Случайно его взгляд упал на что-то голубое в нескольких метрах от него — по-видимому обронен-

ное невесткой. Он подошел и узнал ее платок. Ему сразу вспомнилось, как десять лет назад невестка уезжала к мужу: тогда он с перрона увидел поверх заплаканных, прильнувших к вагонному окну личиков племянников в ее руках этот самый платок. Тогда он был синий в белый горошек, сейчас полинял, стал бледно-голубым, истончился, в двух местах были порядочные дыры. Теребя платок, он припомнил всю трудную и горькую жизнь невестки, припомнил, с какой любовью и заботой она относилась к нему... Негодование, охватившее невестку при встрече с ним, подсказало Чжуньи, что его предательство вновь ввергло брата со всей семьей в пучину бедствий. Не так давно брат выкарабкался из такой же пучины с наполовину обожженным лицом, и вот теперь он, Чжуньи, опять погубил его...

Тут он заметил справа от себя узкий проход между кирпичными домами, узкий настолько, что там едва мог пройти один человек. То был «мертвый проход», он никуда не вел и весь порос травой, в которой валялся битый кирпич. Он бросился туда и принялся хлестать себя попеременно по обеим щекам. Он хлестал себя, плакал и бранился:

— Скотина! Скотина! Почему ты не подох вовремя!

Проходившая мимо девчушка, слышав какие-то звуки, из любопытства заглянула в проход. Только тогда он остановился и понуро поплелся восвояси.

В ту ночь он никак не мог заснуть. Он лежал с заметно припухшими щеками и думал: как бы встретиться с невесткой, узнать у нее, что же все-таки случилось с братом, а главное — растолковать ей, что не надо во всем винить его одного, что вся беда в потерянном письме. Ведь и он сам из-за этого письма потерял все в жизни.

23

Цзя Дачжэнь снова стоял на трибуне. Но в этот день его тощее длинное лицо, выглядывавшее из-под козырька армейской фуражки, казалось необычным — каким-то раскованным, даже, пожалуй, добродушным. Да и атмосфера на собрании была иной — более мирной и спокойной, будто

после суровой зимы наступило потепление. У Чжунъи стоял перед трибуной, слегка склонив голову; ему не заломили руки за спину и не повесили на грудь никакого плаката.

Полгода гремел гром, сверкали молнии, ревел ветер, бушевал ливень. Теперь погода изменилась — пришла пора «проводить в жизнь правильный курс».

К концу предыдущего месяца общее число «вытащенных» сотрудников института достигло тридцати семи. Это было заслугой остальных ста сотрудников, затративших на сей подвиг более двух тысяч часов рабочего времени, и еще более выдающейся заслугой Цзя Дачжэня и иже с ним.

Теперь времена изменились и вместе с ними — лозунги. Теперь провозглашали: «Если можно казнить или не казнить — лучше не казнить; если можно арестовывать или не арестовывать, лучше не арестовывать; если можно брать или не брать под надзор, лучше не брать». Теперь предписывалось разобраться с пострадавшими и по возможности вернуть их на прежние места, и чем быстрее, чем великодушнее ты проведешь эту работу, тем очевиднее и ярче твои достижения. То, чему раньше Цзя не позволил бы просочиться между пальцами, сейчас он пропускал, широко раскинув руки. Таким, как он, поднаторевшим в злобных речах и ругани, пришлось, наверное, рыться в словарях, чтобы вспомнить более или менее человеческие слова.

В этот день освобождали У Чжунъи — он был выбран в качестве первого примера великодушного решения вопроса.

По заведенному ранее порядку сперва на трибуну поднялось двое или трое людей, еще раз покритиковавших Чжунъи. Затем вышел Цзя Дачжэнь, достал лист бумаги и прочел, не отклоняясь от текста:

«У Чжунъи, тридцати семи лет, мужского пола, вырос в бедной городской семье. С детства подвергаясь воздействию среды, испытал сильное влияние буржуазной идеологии. В период борьбы с правыми в 1957 году один раз участвовал в деятельности реакционной организации «Общество любителей чтения», созданной его братом У Чжунжэнем и другими,

выступал с типичными для правых высказываниями. Преступление его носило серьезный характер, но он ничего не сообщил о нем своей организации. Когда развернулась данная кампания, У Чжунъи вступил в тайные сношения с братом в попытке продолжать скрывать свою вину и противодействовать кампании. Однако перед лицом мощи пролетарской диктатуры и под воздействием проводимой нами политики У Чжунъи добровольно покаяться и признал вину. Многократные проверки подтвердили, что его показания в основном соответствуют действительности. Кроме того, во время пребывания в группе надзора и трудового перевоспитания он проявил себя с положительной стороны. Руководствуясь стремлением строго и неукоснительно осуществить политику партии, исходя из принципа «лечить болезнь, чтобы спасти больного», и учитывая поведение У Чжунъи, ревком постановил, а высшее руководство рассмотрело и утвердило решение: считать, что У Чжунъи совершил серьезную ошибку, относящуюся к противоречиям внутри народа, и не подлежит уголовному преследованию. С сегодняшнего дня он восстанавливается на прежней работе с прежним окладом. Надеемся, что товарищ У Чжунъи, вернувшись на свой служебный пост, будет настойчиво овладевать марксизмом-ленинизмом и идеями Мао Цзэдуна, будет энергично трудиться, чтобы в практической деятельности перевоспитать себя и стать новым человеком».

Дослушав чтение, У Чжунъи оторопел; забывшись, он поднял голову и уставился на собравшихся. На многих лицах он увидел довольные улыбки — люди радовались за него. Он повернулся и посмотрел на Цзя Дачжэня. Ему открылось зрелище более редкое, чем полное затмение луны, — улыбка на лице Цзя. Это окончательно уверило Чжунъи, что происходящее с ним не сон, а доподлинная правда. Жизнь разом возвращала ему все, что отняла! Тут к нему приблизился сам председатель институтского ревкома Хэ, вручил ему «Избранные произведения Мао Цзэдуна» и нацепил на грудь латунный значок с профилем автора. Он даже пожал ему руку! Какая-то горячая волна нака-

тилась на Чжунъи, он безотчетно поднял руки и закричал во весь голос: «Да здравствует великая пролетарская культурная революция!» При этом он весь устремился ввысь за лозунгом — казалось, что ноги уже оторвались от земли, а лицо увлажнили горячие слезы.

К нему обратился Цзя Дачжэнь:

— У, старина, ты еще не освободился от всех своих ошибок, не до конца понял сущность этой кампании. Ты должен как следует усвоить урок! В свое время мы тебя разоблачили и поступили правильно, сейчас освобождаем и тоже действуем правильно. Будь благодарен организации, которая спасла тебя!

Плача, он безостановочно кивал головой и верил каждому слову, произнесенному Цзя Дачжэнем.

Он сошел с трибуны, медленно передвигая ноги. Счастье обрушилось так внезапно, переполнявшая сердце радость была так велика! Все это время Чжао Чан стоял неподалеку от трибуны, чтобы от имени сектора новой истории вновь принять Чжунъи в его ряды. Улыбаясь во весь рот, он подскочил к У Чжунъи и обеими жирными, мягкими ладонями схватил того за дрожащие руки.

Собрание закончилось. Он уходил вместе с Чжао Чаном, и все встречные обращали к нему доброжелательные улыбки, своего рода молчаливые поздравления. Подошел и начальник группы надзора и перевоспитания Чэнь Ганцюань. Еще какой-нибудь час назад он собирался по окончании собрания суровыми окриками загнать Чжунъи обратно в помещение группы. Но сейчас он расплылся в улыбке:

— Старина, ты не должен помнить зла! Мы ведь все это делали ради революции!

Чжунъи растерянно улыбнулся, кивнул головой. Ведь и раньше он ни на кого не сердился, хотел лишь, чтобы другие отнеслись к нему терпимо.

В коридоре переднего корпуса он столкнулся с Цуй Цзинчунем. Высокий, худощавый заведующий сектором был по-прежнему строг, сдержан и невозмутим. У Чжунъи остановился.

Ему вспомнилось, как еще до всего случившегося он беседовал на секторе с Цуй Цзинчуном и тот дал ему столько добрых, от сердца идущих наставлений, а он из-за всяческих опасений не открыл Цую своего прошлого, не посоветовался с ним. А потом, когда за Чжуньи взялись как следует, Цуй Цзинчунь ни разу не оскорбил его грубым словом, ни разу не «давил» на него. Это даже стало поводом для начала борьбы «с правым уклоном» в институте. Теперь он чувствовал себя в чем-то виноватым перед Цуем, но не знал, как это выразить. Цуй Цзинчунь из-под своих очков в узкой черной оправе бросил взгляд на Чжао Чана, шедшего рядом с У Чжуньи, и произнес коротко, но со значением: «Так ты запомни этот урок!» С этими словами он быстро удалился.

У Чжуньи так никогда и не узнал, какие жаркие споры с Цзя Дачжэнем пришлось вести Цуй Цзинчуню о нем, У, и о решении по его делу.

Чжао Чан привел У Чжуньи в кабинет сектора региональных проблем, они остановились перед прежним столом Чжуньи. Чжао Чан вдруг схватил его за руку и вложил в ладонь что-то холодное и твердое.

Чжуньи не сразу понял, что этот блестящий предмет — ключ от его стола, который ему приказали сдать в тот самый день, когда его «вытаскивали». Расплывшись в теплой, как в былые дни, улыбке, Чжао Чан сказал ему:

— Я ни в чем не навредил тебе!

В памяти У Чжуньи возник тот разговор, который был у него с Чжао Чаном в помещении рабочей группы. Тогда Чжао говорил что-то похожее. И ведь вправду, думал он, Чжао помог ему в решающий момент — подсказал, что Цзя Дачжэнь располагает материалами против него, включая то пресловутое письмо. Благодаря этому он успел признаться во всем добровольно, не дожидаясь разоблачения. Значит, своим сегодняшним счастьем, оказанной ему милостью он обязан старому другу! В его покрасневших от рыданий глазах вновь появились слезы, сердце переполнилось признательностью, но выразить ее словами он не смог.

Он пошел домой. Да, он свободен и может вернуться домой! Словно выпущенная из клетки птица, не знающая забот и тревог, он может беспрепятственно лететь куда вздумается. Стоит вздеть руки — и полетишь в манящую высь...

По пути домой он истратил все немногие деньги, которыми располагал: купил бутылку пива, закуску и немного сладостей, чтобы устроить пиршество по поводу своего возвращения. Еще не откупорив бутылку, он уже пошатывался, как опьяневший небожитель, то и дело теряя равновесие. Было самое холодное время года, именуемое в народе «три девятки», но он шел без шапки, с пылающим лицом.

Он вошел в дом, куда его нога не ступала полгода с лишним, и очутился в темной прихожей. Соседка, тетушка Ян, дробила на мелкие кусочки уголь. Ее внучонок орудовал маленькой лопатой, помогая и одновременно мешая ей. При виде Чжуньи она оторопела:

— Товарищ У, вы вернулись?

— Как видите, — ответил он, сияя от радости.

— Да как же, ведь вас... — тут тетушка Ян поперхнулась. Было очевидно, что она знала о выпавших на долю У неприятностях, но, не имея свежей информации, почла за благо замолчать. Она стояла с лопатой в руках, не зная, как быть.

Но и У Чжуньи не знал, что следует говорить в подобных случаях.

Тетушка Ян как-то неестественно улыбнулась и сказала:

— Вы бы пошли растопили печку, погрелись бы! — и тут же поспешила убрать свое рыхлое, неуклюжее тело в собственную комнату, утащив за собой и внука. Казалось, она пряталась от больного, убежавшего из инфекционной больницы.

У Чжуньи не придал этому значения, решив, что попозже спустится к ней и объяснится.

Он открыл дверь и вошел в комнату. Спертый воздух отдавал сыростью. В комнате все было как прежде, но все казалось поначалу каким-то незнакомым. Стол, кровать, стулья, чашки и

прочая утварь как будто были удивлены его вторжением, но, разобрав, что это вернулся хозяин, словно бы в волнении бросились ему навстречу. Они были такие грязные, такие запыленные, что все казались одного цвета. Он повертелся по комнате, не зная, с чего начать уборку; немного успокоившись, он решил сначала растопить печку. Ему повезло в том смысле, что его арестовали весной, еще до того, как начали убирать железные печки, так что он мог прямо приступить к делу. Пройдет совсем немного времени, и в комнате будет тепло.

Но едва его рука коснулась оставшейся в топке золы, как в душе вроде бы что-то оборвалось. Ведь это были остатки сожженных им черновиков письма. Ему припомнились брат с невесткой, на сердце становилось все тяжелее. Он решил сходить в семью невестки и разузнать, что же произошло с ней и с братом. Но как он сможет объяснить им все, что случилось? Во всяком случае писем он больше писать не будет.

Он растопил печь, перепачкав при этом руки, а когда собрался их мыть, увидел, что вода в тазу для умывания замерзла, образовав толстый слой льда. В дни после утери письма, когда Чжунъи жил словно в тумане, он почти не умывался: самое большее — машинально смачивал в тазу полотенце и обтирал лицо. А поскольку воду он не менял, лед в тазу был серым, непрозрачным.

Он взял в руки таз и перевернул его, думая поддержать над печкой и поскорее растопить лед. Вдруг что-то привлекло его внимание: то было письмо, приклеившееся к доньшку таза. Удивленный, он положил таз на стол и отодрал конверт. От изумления у него брови поползли вверх, а глаза едва не выскочили из орбит. Это было оно, потерянное письмо, едва не стоившее ему жизни! Марка была на месте, и конверт заклеен как следует — видно, в то утро он в спешке переложил клейстера, заклеивая письмо, и бросил его на стол. Умываясь, он поставил на конверт мокрый снизу таз, и лишний клейстер прилип к доньшку. Кому же могло прийти в голову искать письмо именно здесь?

— А-а-а! — раздался его крик.

Он застыл, и вся его фигура напоминала восклицательный знак, стоящий за этим «а-а-а»... Прошло не менее получаса, прежде чем он понял все, что произошло.

25

И теперь опять вернулась весна.

Весна пришла! И не только в природе, но и в жизни людей. Посмотри, кругом тают снега и льды, пробуждается все живое. Весеннее многоцветье снова сверкает в глазах людей.

Когда ты вдыхаешь аромат только что распустившегося цветка или мнешь в руках блестящие, сочные, нежно-зеленые листья; когда ты, стоя в долине, окидываешь взором цепи гор и видишь, как по всем склонам сбегает ручейки из-под тающих ледников; когда ты прогуливаешься по улице и в свете весеннего солнца видишь ряды новых зданий, с которых еще не успели снять леса; когда ты вечером стоишь у окна и слышишь, как крики диких гусей в небесах сливаются в единую дивную гармонию с музыкой земли... Разве в эти минуты тебе захочется вспоминать о пронизывающем холоде суровой зимы? Разве захочется вновь увидеть зарубцевавшиеся раны?

Однако бедствие, причины которого не вскрыты, подобно западне, притаилось возле дороги: прошлое может вернуться опять. Чтобы путь вперед был ровным и прямым, чтобы снова не попасть в колею страданий, нужно многое делать и еще больше, еще серьезнее размышлять...

Тяньцзинь, 27 сентября 1979 г.

Высокая женщина и ее муж-коротышка

1

Растет у тебя во дворе стройное деревце с гладким стволом. Ты давно привык к его виду. И вдруг однажды оказывается, что оно безобразно искривилось, и чем больше ты смотришь на него, тем неприятней оно становится. Но пройдет время, и глаз твой снова привыкнет к нему, будто оно всегда было таким. И если в один прекрасный день ствол его снова станет прямым и гладким, ты вновь почувствуешь смутное беспокойство: какая-то жердь, хоть бы чем-нибудь выделялось. А деревце просто обрело прежний вид. Почему же оно раздражает тебя? Не в привычке ли дело? А что? Думаете, привычки — пустяк? Они есть у каждого. Пускай привычка — не закон, не установление, которое ты обязан выполнять, однако она может причинять тебе массу неудобств. Только не вздумай обижаться, но ты намертво привязан к ней и порой невольно, неосознанно будешь поступать, как она велит. Разве ты, к примеру, посмеешь кричать благим матом при начальстве? Или высказывать свои взгляды в присутствии старших? А когда фотографируются группой с какой-нибудь знаменитостью, неужто позовешь ее стать рядом с собой? Или сам без церемоний станешь посередке, улыбаясь во весь рот? Конечно, нет. Ну, да не будем об этом. А вот хватит ли у тебя духу взять в жены женщину лет на десять старше тебя или ростом на голову выше?

Между тем это не пустая болтовня. Знал я одну такую пару.

2

Она выше его на семнадцать сантиметров. Рост у нее метр семьдесят пять, и рядом с другими женщинами она — как журавль среди кур. А у мужа — всего метр пятьдесят восемь.

В университете все звали его «У Старший»*. Его макушка — вровень с ее сережками, и кажется, будто он ниже ее на две головы!

А вот как выглядит каждый из них: женщина — тощая, плоская, кожа на лице шершавая, словно это не покрытая лаком ракетка для пинг-понга. Глаза, нос, рот, уши — еще куда ни шло, но все очень уж обыкновенное, невыразительное, какое-то смазанное, как на слишком мелко вырезанной гравюре. Грудь не различишь под одеждой, спина длинная, прямая, бедра узкие, зад плоский — все равно что стиральная доска. А муж, наоборот, коротышка, толстяк, весь как резиновый мячик: упитанный, крепкий, лоснящийся. Губы, нос, подушечки пальцев, икры ног — точно упругие мясные катыши. Кожа на лице гладкая, глянцевая, как хорошее шевро, лоснится от жира. Сквозь нее будто просвечивает свежая алая кровь. Глаза — словно электрические лампочки в полный накал. А у жены глаза тусклые, как мутные стеклянные шарики. Поставь обоих рядом — какая уж тут гармония! Только сравнения напрашиваются. А между тем их всегда видели вместе, они были неразлучны, как тело и тень.

Как-то раз их соседи справляли какой-то свой праздник. Вся родня была в сборе. Глава семьи, изрядно выпив и развеселившись, взял пустую бутылку, высокую и узкую, и поставил ее рядом с плоской баночкой из-под свиной тушенки. «Угадайте, что это? — спросил он и, не дожидаясь ответа, объявил: — Это та, длинная, с нижнего этажа, и ее хозяин-недомерок». Все расхохотались, довольные шуткой. И долго еще оттуда раздавались взрывы смеха.

Как же они нашли друг друга? Этот вопрос давно не давал покоя нескольким десяткам семей, жившим в многоэтажном доме под названием «Единение». Когда эти двое, поженившись, поселились в нем, все старожилы заинтересовались ими. Только одни любопытствуют молча, а другие не могут удержаться от

* У Старший (У-Далан) — герой романа XIV в. «Речные заводи», торговец лепешками, брат богатыря У Суна, отличавшийся невысоким ростом и бывший постоянным объектом насмешек. Имя его стало нарицательным.

расспросов. Болтливые — те, у кого, как говорится, излишек ртов и избыток языков,— без конца судачат о людях. Выйдут супруги из дома в дождь, зонт всегда держит она — ей удобней; уронят что-нибудь, всегда поднимет он — ему удобней. Досужие соседки, едва те появятся, тычут им пальцем вслед, смех так и распирает их, они еле сдерживаются. Но то, что взрослые стараются скрыть, у детей может обернуться отвратительным фарсом. И вот уже кто-то из них, завидев эту пару, кричит со смехом: «Коромысло и скамейка!»

Супруги, казалось, ничего не слышали, их никогда не выводили из себя выходки детворы, они словно не замечали их. Но может быть, именно поэтому их отношения с жильцами большого дома оставались прохладными. Те немногие из соседей, кто не любил соваться в чужие дела, при встрече с супругами по дороге на службу или обратно самое большее здоровались с ними или просто кивали головой. Вот и выходило, что большинству, которое стирало от любопытства, было нелегко узнать о них что-нибудь. Ну, скажем, ладят ли они друг с другом, почему поженились, кто кого окрутил. Оставалось только гадать, не зная толком ничего.

Дом представлял собой общежитие старой постройки, с большими комнатами окнами на юг, с широкими темными коридорами. Перед ним — просторный двор, а напротив прилепился к воротам домишко. В нем жила семья портного. Сам портной был человек тихий, нелюдимый, а жена его вечно ходила по соседям поболтать о том о сем, любила другим косточки перемывать, а особенно разнюхивать чужие секреты. Как живут жены с мужьями, из-за чего бранятся невестки, кто усерден, а кто ленив в работе, у кого какое жалованье — все она знала до тонкостей, доподлинно. А если не удавалось выведать что-нибудь напрямую, придумывала тысячи хитростей, сотни уловок, чтобы все-таки дознаться. Тут у нее прямо талант был. И никто в этом не смог с ней сравниться. Ей ничего не стоило составить мнение о человеке по его манере разговаривать и по его облику — об этом и говорить нечего, но она могла даже угадать тайные мысли. По запаху она определяла, кто часто ест

мясо, и отсюда могла вычислить доходы семьи.

Не знаю уж почему, но в шестидесятых годах подобные люди становились повсюду «уличными активистами», и их умение все разузнать, их настырность и привычка совать нос в чужую жизнь узаконивались и всячески поощрялись. Да, поистине создатель не позволит пропасть ни одному таланту.

Но сколько ни старалась жена портного, а все не могла дознаться, как же составила эта странная пара, дважды в день проходившая мимо нее — на работу и обратно. Она досадовала, злилась, словно ей был брошен вызов. И тогда она, пораскинув мозгами, нашла наконец убедительное объяснение: не иначе у кого-то из них есть скрытый порок. А как же еще? Разве кто вот так, ни с того ни с сего, выберет в пару человека на голову ниже себя? И доказательства нашла веские: три года как они женаты, а детей нет! И все обитатели большого дома поверили жене портного, этому ее мудрому суждению.

Но жизнь опровергла ее домыслы: высокая женщина забеременела. Соседи, продолжавшие разглядывать супругов, не спускали глаз с ее живота, а он день ото дня становился все заметнее. И наконец, опровергая все сомнения и подозрения, младенец громким «уа-уа!» возвестил о своем появлении на свет. Всякий раз, когда припекало солнце или шел дождь, женщина крепко прижимала к груди ребенка, а зонтик теперь опустился в руки коротышки мужа. Он быстро перебирал короткими толстыми ножками, стараясь не отстать от жены, и высоко поднимал зонтик. Вид у него при этом был весьма комичный. Как ни странно, они были все так же неразлучны, словно тело и тень. И соседи не умерили своего любопытства. Как и раньше, они строили всевозможные догадки на их счет, вроде бы правдоподобные, но не получившие подтверждения. Вот так птицы стаяй кружат над землей, трепеща крыльями, не зная, куда опуститься.

— Эта парочка наверняка обделяет темные делишки. Чего бы им иначе сторониться людей. Ну, да если появился на теле гнойник, он рано или поздно все равно прорвется. Вот тогда и посмотрим! — говорила жена портного.

И впрямь, она дождалась своего: услышала однажды вечером, как в комнате высокой женщины что-то упало и разбилось. Жена портного немедля бросилась туда и постучала в дверь, на ходу придумав предлог: собираю, мол, деньги на уборку двора. Вот, думала она, сейчас своими глазами увижу семейную ссору да еще в самом разгаре. Но дверь отворила весело смеющаяся женщина. Муж ее сидел, весь расплывшись в улыбке, а на полу валялись осколки разбитого блюда. Вот и все, что увидела жена портного. Она поспешно взяла протянутые ей деньги и ушла. Как же так, недоумевала она, блюдо-то разбито, а ни драки, ни ругани, наоборот, даже вроде веселятся. Поди тут разберись.

Вскоре после этого жена портного стала делегатом уличного комитета от их дома. И когда ей пришлось помогать полиции проводить перепись населения, она наконец-то получила ответы на вопросы, мучившие ее столько лет. Точные, совершенно достоверные ответы. Оказалось, что оба они, высокая женщина и ее коротышка муж, работали в одном и том же химическом научно-исследовательском институте. Только он служил главным инженером и зарабатывал больше 180 юаней! А жена — простой лаборанткой и получала каких-то 60 юаней, да еще была дочерью почтальона, из тех, кто усердно трудится, а домой приносит гроши. Теперь ясно, почему она вышла за этого коротышку: ради положения и ради денег, чтобы хорошо жить. Это уж точно. И жена портного тут же понесла эти драгоценные сведения изнывавшим от безделья соседкам.

Люди всегда смотрят на мир, исходя из собственных представлений, стараясь подогнать под них все, что они видят. Потому-то все и поверили жене портного, ни у кого не возникло и тени сомнений. Загадка, так долго томившая их, была разгадана вмиг. Все будто прозрели. Оказывается, коротышка неслыханно богат и долговязая просто польстилась на его деньги. Этой девице из бедной семьи прямо-таки счастье привалило. С тех пор, когда бы жильцы ни говорили об этой паре, особенно о ней, об этой везучей дылде, в голосе их слышалось раздражение. Но особую неприязнь вызвали они у жены портного.

Не торопись утверждать: у этого, мол, человека, счастливая судьба, подожди, пусть пройдет время.

Наступил 1966 год. Большой дом напоминал замкнутый мирок во время стихийного бедствия: у одного беда, другому повезло — для всех обитателей дома настало время больших перемен. Вся жизнь менялась, и менялась быстро. Муж высокой женщины был главным инженером, и на него обрушились несчастья: произвели обыск в его комнате, всю мебель унесли, самого его избили и заперли в хлеву. Мало того, пошел слух, будто он который уж год тайком писал по вечерам книгу, используя научные материалы института, чтобы потом бежать за границу к богатым родственникам. Он будто бы намеревался выдать иностранным капиталистам государственную тайну — данные научно-технических исследований. Эту несусветную чушь многие, однако, приняли всерьез. В то время все катилось кувырком, люди теряли человеческий облик, лучше было ничего не знать, лучше уж было ожесточиться. А еще появилось много бредовых идей. Иным, скажем, так и хотелось изобличить в своем ближнем Гитлера.

Сотрудники института готовы были умереть, но не выпустить главного инженера из рук, они запугивали его, избивали, оказывали на него всяческое давление, а от жены требовали рукопись, которой никто и в глаза не видел. Но все было напрасно. Кому-то пришлось в голову провести собрание по борьбе и критике во дворе большого дома, где жили супруги. Кто не боится быть опозоренным перед родными, друзьями, знакомыми? Это тоже один из способов давления. Когда все другие приемы испробованы и не дали результатов, остается этот — может, будет толк.

Никогда еще в этом доме не было так оживленно. После обеда из института прислали людей. Они натянули между двумя деревьями во дворе толстую пеньковую веревку и развесили на ней бумажные листы с фамилией коротышки инженера, расклеили на улице и во дворе плакаты, большие

и поменьше, с лозунгами, проклятиями и угрозами, а на стену дома налепили восемнадцать листов с описанием «преступлений». Собрание назначили на вечер, после ужина, поэтому из института прислали еще монтера, который протянул по двору провода и повесил четыре пятисотсвечовые лампы. К тому времени жена портного была уже не делегатом уличного комитета, а начальником по охране порядка, она стала могущественной личностью и, очень довольная собой, расплылась, раздобрела. В тот день она прямо с ног сбилась: надо было мобилизовать женщин, помочь с лозунгами, революционерам из института чаю подать, кипятку принести, а тут еще монтер из ее комнаты провода тянет. Суета — как перед свадьбой!

После ужина жена портного собрала жильцов во дворе. Зажглись четыре мощные лампы, и стало светло, как на стадионе вечером во время матча. Фигуры собравшихся бросали на стены дома огромные, вдесятеро увеличенные тени, неподвижные и строгие. Даже дети не смели шуметь. Жена портного и еще несколько человек с красными повязками на рукавах стояли у ворот, чтобы не пропускать посторонних. Какими грозными были в то время красные повязки!

Вскоре ввалилась целая толпа работников химического института, тоже с повязками на рукавах. Выкрикивая лозунги, они вели высокую женщину и ее низенького мужа. У того на груди висела дощечка. Под конвоем их провели на помост. Там они и встали, опустив головы. Тотчас подскочила жена портного:

— Революционным массам, которые сзади, не видно этого негодяя. Я кое-что придумала. Сейчас...

И заработала плечами, протискиваясь через толпу. Минуту спустя появилась, прижимая к груди ящик из-под мыла. Опрокинула ящик и велела коротышке взобраться на него. Теперь тот казался одного роста с женой. Впрочем, тогда их рост никого не интересовал.

Все шло по заведенному образцу: сперва объявили собрание открытым, потом выкрикивали лозунги, потом выходили «штатные критики», пылко произносили гневные речи, снова выкрики-

вали лозунги. Сначала стали добиваться признания от высокой женщины. Все сводилось к пресловутой рукописи. Копья, лезвия языков вонзались в женщину. Ты требовал ответа, я требовал ответа, он требовал ответа. Визгливые, хриплые, рычащие голоса грохотали, хлестали, настигали... А высокая женщина только мотала головой, все отрицая. Она была искренна. Да вот беда, искренность тогда ничего не стоила. Поверить в искренность было все равно что отрицать реальность мира.

Распаленные яростью парни вскакивали на помост, угрожали женщине, размахивая кулаками. Изоцренные, поднаторевшие в таких делах люди придумывали хитроумные вопросы, представляли ловушки, пытаясь запутать женщину, а она все так же решительно и чистосердечно отрицала все, мотая головой. Если бы так шло и дальше, собрание по критике никогда бы не кончилось, не дало никаких результатов, неизвестно даже, как его надо было бы закрывать. Люди из института стали в тупик, ведь они отвечали за собрание от начала до конца. Пришли такие уверенные в себе, а глядишь, не пришлось бы возвращаться ни с чем.

Жена портного долго стояла и слушала и чем больше слушала, тем больше разочаровывалась. Она была неграмотная, дацзыбао и то не могла прочесть, и «рукопись» ее нисколько не интересовала. Но она чувствовала: люди из института своими речами немногого добьются. Она вдруг подбежала к помосту и, тыча пальцем в высокую женщину, заорала:

— Ну-ка отвечай, почему вышла за него?

Институтские остолбенели. Они не понимали, какое отношение к их делу имеет вопрос начальницы охраны. Высокая женщина тоже оторопела. И она не поняла, почему жена портного задала этот вопрос. Неужели это кого-нибудь сейчас интересует? На ее лице, изборожденном морщинами и высохшем за несколько месяцев мытарств, словно опавший лист, было написано изумление.

— Что, духу не хватает ответить? Тогда я за тебя скажу: на денежки этого мерзавца позарилась, иначе разве пошла бы за него? Без денег кому он нужен, этот обрубок! — вопила жена

портного, и в голосе ее звучало торжество: теперь-то она вывела эту долговязую на чистую воду!

А та стояла неподвижно, ничего не признавая и не отрицая. Казалось, до нее дошло, наконец, что это за личность, жена портного, и в глазах ее промелькнули презрение, насмешка и упрямство.

— Ладно, ладно, не хочешь — не сознавайся! Этому убуду-ку теперь конец, а вот как ты сама будешь жить теперь, мы еще посмотрим. Знаю я, знаю, о чем ты думаешь!

Жена портного била себя в грудь, размахивала руками, а стоявшие рядом женщины подбодряли ее. Никогда еще она не была так довольна собой.

Институтские не очень-то уяснили, что к чему. Но неожиданный поворот дела их вполне устраивал. Правда, женщины увели дело в сторону на тысячу ли, зато собрание снова забурлило. А без этого как довести дело до конца? Поэтому женщин не унимали: пускай разойдутся как следует. А они визжали:

— Сколько он тебе денег давал? Что покупал? Говори!

— Мало тебе двести юаней в месяц, за границу бежать надумала, шлюха!

— Может, вы заодно с Дэн То?*

— Кому в Пекин звонила? Небось в «деревню трех семей»? Признавайся!

О том, насколько успешно прошло собрание, судят по его атмосфере. Люди из института, ответственные за это мероприя-

* Дэн То (1912—1966) — видный китайский публицист, историк, поэт. В 1949—1958 гг. — главный редактор газеты «Жэньминь жибао». Начиная с 1961 года он регулярно печатал на страницах «Бэйцзин ваньбао» («Пекинской вечерней газеты») свои эссе, в которых с помощью намеков и исторических примеров бичевал левацкие установки тогдашнего руководства. Потом, объединившись с известным историком У Ханем (1909—1969) и писателем-публицистом Ляо Моша (р. в 1907), стал публиковать с 1961 г. в журнале Пекинского горкома «Цяньсянь» («Фронт») эссе и острые фельетоны под общим названием «Записки из деревни трех семей». Все три автора стали жертвами «культурной революции», их имена проклипались на всех собраниях и митингах. Из них остался в живых лишь Ляо Моша.

тие, улучив момент, когда страсти разгорелись вовсю, быстро прокричали с десятков лозунгов и сразу же объявили собрание закрытым. Затем они перерыли все в комнате супругов, подняли там половицы, содрали со стен бумагу, но, конечно, ничего не нашли. Мужа они увели с собой, а высокую женщину оставили одну.

4

Женщина так и простояла до ночи в оцепенении посреди комнаты, а потом вдруг вышла из дома. Ей и в голову не могло прийти, что в привратничкой, где был потушен свет, ее все это время подкарауливала жена портного. Едва женщина пересекла двор, жена портного пошла за ней следом. Выйдя за ворота, женщина миновала два перекрестка, перешла на другую сторону улицы, остановилась у каких-то ворот и тихо постучала. Жена портного, спрятавшись за фонарным столбом, наблюдала за ней. Затаив дыхание, выпучив глаза, она вся напряглась, будто изготавилась броситься на свою добычу. Ворота скрипнули и отворились. Появилась старуха с маленьким мальчиком и спросила:

— Все кончилось?

Что ответила высокая женщина, жена портного не разобрала. Снова послышался голос старухи:

— Малыш поел и немного поспал. Ну, идите скорее.

И тут жена портного вспомнила: обычно высокая женщина, уходя на работу, отводила сына к этой старухе. Она сразу потеряла к ней интерес. Высокая женщина повернулась и, ведя ребенка за руку, направилась к дому. Они не разговаривали, слышен был только звук их шагов. Жена портного притаилась за столбом, боясь шелохнуться, а когда они отошли на порядочное расстояние, поспешила домой.

На другое утро, когда высокая женщина вышла с ребенком из дома, никто во дворе не осмелился с ней заговорить, все только глядели на ее покрасневшие от слез глаза с опухшими веками. Тем, кто присутствовал на вчерашнем собрании критики и борьбы, было как-то не по себе, их беспокоило смутное ощущение

ние, похожее на раскаяние, и они отворачивались, чтобы не встретиться с ней глазами.

О муже высокой женщины, после того как его увели, ничего не было известно. По словам всеведущей жены портного, он был замешан еще в чем-то, и его посадили в тюрьму. Высокая женщина стала женой заключенного и оказалась на самом дне жизни. Конечно, теперь просторная комната в высоком доме под названием «Единение» была не для нее, и ей пришлось поменяться жильем с семьей портного. Она перебралась в крохотный домишко, стоявший метрах в десяти от дома, и была даже этому рада — меньше приходилось сталкиваться с соседями.

Из окон большого дома можно было видеть одинокий домик и в нем сиротливую тень высокой женщины. Куда она отправила ребенка, никто не знал, время от времени она приводила его на несколько дней. Женщина в одиночестве проводила тяжелые, унылые дни. Ей едва перевалило за тридцать, но выглядела она много старше. Жена портного заключила:

— Думаю я, она подождет еще годик да и выйдет замуж. По мне, так ей и сейчас уже надо развестись и выйти за кого другого. Чего ждать этого коротышку? Если даже его и выпустят, все равно он уже не человек, да и денежки тю-тю!

Прошел год. Коротышка не возвращался, и высокая женщина по-прежнему жила одна, одиноко и молчаливо. На работу — с работы, уйдет — придет, растопит плиту, сходит с большой желтой дырявой корзиной за овощами. В году триста шестьдесят пять дней, и так — каждый день.

Прошел еще год. И однажды муж появился. Стояла поздняя осень. На нем была легкая одежонка, волосы подстрижены ежиком. Он сильно изменился: от округлости его не осталось и следа. Кожа утратила блеск, в лице ни кровинки. Он торопливо поднялся в свою прежнюю комнату. Ее новый хозяин, простодушный заика портной, проводил его до двери лачуги. Высокая женщина сидела на корточках у порога и рубила хворост. Услышав приветствие, она вскочила и оторопело уста-

вилась на мужа. Супруги не виделись два года и не узнавали друг друга. Оба изможденные, усохшие: она стала казаться еще выше, а он — еще ниже. Так они и стояли, глядя друг на друга. Потом жена бросилась в дом и долго не показывалась. А он присел на корточки, подобрал с земли топор и принялся за работу. Нарубил две большие корзины.

Момент встречи оказался для них очень тягостным, почти невыносимым. А потом они, как и прежде, стали вместе уходить на работу и вместе возвращаться, неразлучные, словно тело и тень. Жильцы большого дома уже не замечали в них ничего необычного, и интерес к ним постепенно пропал. Никому не было дела до них.

Но однажды утром что-то случилось. Муж выбежал из дома испуганный, растерянный. Немного погодя приехала «скорая помощь» и увезла женщину. Долгое время в их домишке по вечерам не горел свет. Дней через двадцать муж и какой-то незнакомый человек принесли на носилках высокую женщину.

Из дому женщина больше не выходила. Ее муж-коротышка по-прежнему ходил на службу, а вернувшись вечером, поспешно принимался за домашние дела: разжигал печку, отправлялся с корзиной за овощами. Корзина была та же самая, с которой и год и два назад каждый день ходила за покупками высокая женщина, но в его руках корзина казалась слишком большой, и дно ее почти касалось земли.

Прошел год, и когда снова потеплело, высокая женщина впервые вышла из каморки. Ее некрасивое лицо, так долго не выдавшее солнца, было известково-бледным. Беднягу качало из стороны в сторону. Правой рукой она опиралась на бамбуковую палку, а левая висела, подвязанная на груди. Левая нога была парализована, женщина с трудом волочила ее. Было ясно — она перенесла инсульт.

С того дня каждое утро и каждый вечер муж-коротышка выводил свою высокую жену, и они делали два круга по двору. Они передвигались с таким трудом и так медленно! Муж обеими руками поддерживал жену под локти, ему приходилось очень

высоко поднимать руки, плечи его нелепо вздымались. Он очень старался, но нельзя было без улыбки глядеть на него. Высокая женщина не могла поднять безжизненную левую ногу и для того, чтобы сделать шаг, всякий раз дергала привязанную к ней веревку. Удивительное было зрелище — и скорбное и трогательное. Обитатели большого дома невольно прониклись сочувствием к этой паре. И, встречаясь с супругами во дворе, стали приветливо кивать им головой.

5

Для высокой женщины не было большего счастья, чем находиться подле своего любящего супруга. Но и жизнь, и дух смерти были одинаково безжалостны к ним. Жизнь добила ее, смерть уволокла с собой. И маленький муж остался один.

После того как высокая женщина распрощалась с жизнью, судьба снова улыбнулась низенькому мужчине. Его реабилитировали. Он получил конфискованное имущество, ему возместили разницу в зарплате за все время после его возвращения. Только вот комнату, занятую женой портного, ему не вернули. Кое-кто из соседей еще присматривался к нему: не появится ли чего-нибудь нового в его жизни? Поговаривали, что в институте многие старались помочь ему жениться снова, как говорят, продлить струну, но он упорно отказывался.

— Знаю, что ему нужно,— заявила однажды жена портного,— вот увидите!

Ее лучшие дни были позади. Лишившись власти, она притихла, стала приветливо улыбаться всем. Как-то раз, сунув за пазуху фотографию красивой молодой женщины — это была ее племянница,— жена портного явилась в сторожку к низенькому мужчине. Усевшись, она, разглядывая обстановку, завела с этим «богатеем» разговор о женитьбе. Лицо ее расплылось в улыбке. Она разошлась вовсю, но вдруг заметила, что мужчина молчит и смотрит мимо нее. Лицо у него потемнело. Она обернулась: на стене, куда он смотрел, висела фотография, где супруги были сняты после свадьбы. Жена портного не посмела вынуть фотографию племянницы и поторопилась уйти.

Прошли годы. Низенький мужчина и по сей день живет один. По воскресеньям приводит к себе сына. А соседи из высокого дома, заметив одинокую низкорослую фигуру, вспоминают дела более чем десятилетней давности. Постепенно они вроде бы поняли причину его упорного одиночества.

Когда идет дождь, низенький мужчина, должно быть по привычке, несет зонтик высоко и немного отстранив от себя. Будто под зонтом оставлено место еще для кого-то. Место пустое — потому что в этом мире утраты невосполнимы.

Содержание

5 *Л. Эйдлин. Китайские писатели среднего поколения.*

Ван Мэн

- 17 Весенние голоса. *Рассказ*
Перевод С. Торопцева
- 30 Грезы о море. *Рассказ*
Перевод С. Торопцева

Шэнь Жун

- 45 Средний возраст. *Повесть*
Перевод В. Аджимамудовой

Фэн Цицай

- 131 Советским читателям
Перевод В. Сорокина
- 133 Крик. *Повесть*
Перевод В. Сорокина
- 222 Высокая женщина и ее муж-коротышка. *Рассказ*
Перевод Б. Рифтина

Современная китайская проза
С56 /Пер. с китайск. Сост. В. Сорокина. Предисл. Л. Эйдлина.— М.: Известия, 1984.— 240 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

В книгу вошли произведения известных писателей Ван Мэна, Шэнь Жун и Фэн Цицзя, посвященные трагическим событиям периода «культурной революции», преодолению ее последствий и становлению новой жизни в Китае.

С 4703000000-002 86-84
074(02)-84

ББК 84.5 Кит
И(Кит)

СОВРЕМЕННАЯ КИТАЙСКАЯ ПРОЗА

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *М. Ткачев*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 853

Сдано в набор 07.09.83. Подписано в печать 18.01.84. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,75. Уч.-изд. л. 11,48. Тираж 50 000 экз. Зак. № 761. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

**В библиотеке журнала «Иностранная литература»
в 1982—1983 годах вышли в свет.**

Герман Кант (ГДР) — ОБЪЯСНИМОЕ ЧУДО

Ясуси Иноуэ (Япония) — ТРИ НОВЕЛЛЫ

Леонардо Шаша (Италия) — ПАЛЕРМСКИЕ УБИЙЦЫ

Сьюзен Хилл (Великобритания) — САМЕРВИЛ

**Хоакви Сантана (Куба) — ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЛИЦЕ
МАГНОЛИИ**

**Вити Ихимаэра (Новая Зеландия) — В ПОИСКАХ
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА**

Арман Лану (Франция) — ПЕСОЧНЫЕ ЗАМКИ

Надин Гордимер (ЮАР) — ДОМ ИНКАЛАМУ

Яшар Кемаль (Турция) — ЛЕГЕНДА ГОРЫ

Джон Чивер (США) — ЕЩЕ ОДНА ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Иоаким Новотный (ГДР) — НОВОСТЬ

Рэй Бредбери (США) — В ДНИ ВЕЧНОЙ ВЕСНЫ

Томмьо Гуэрра (Италия) — СТАЯ ПТИЦ

Сид Чаплин (Великобритания) — ТОНКИЙ ШОВ

Натали Саррот (Франция) — ВЫ СЛЫШИТЕ ИХ?

Радослав Михайлов (Болгария) — ВЛАСТИТЕЛИ ЗЕМЛИ

- Юхан Борген (Норвегия) — ДЕКАБРЬСКОЕ СОЛНЦЕ**
- Вильям Сассин (Гвинея) — ВИРЬЯМУ**
- Джеймс Джойс (Ирландия) — ДУБЛИНЦЫ**
- Эржебет Галгоци (Венгрия) — ВДОВА СЕЛА**
- Хуан Карлос Онетти (Уругвай) — ЛИЦО НЕСЧАСТЬЯ**
- Армандо Роблес Годой (Перу) — В СЕЛЬВЕ НЕТ ЗВЕЗД**
- Йозеф Пушкаш (Чехословакия) — ПРИЯТНЫЕ
РАЗОЧАРОВАНИЯ**
- Фарли Моуэт (Канада) — ВПЕРЕД, МОЙ БРАТ, ВПЕРЕД!**
- Костас Варналис (Греция) — ДНЕВНИК ПЕНЕЛОПЫ**
- Алан Маршалл (Австралия) — ПИШУ О ТЕХ, КОГО ЛЮБЛЮ**
- Ярослав Гашек (Чехословакия) — ТАЛАНТЛИВЫЙ
ЧЕЛОВЕК**
- Элио Витторини (Италия) — СИЦИЛИЙСКИЕ БЕСЕДЫ**
- Сётаро Ясуока (Япония) — МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ**
- Франсуа Мориак (Франция) — АГНЕЦ**
- Мигель Делибес (Испания) — ОПАЛЬНЫЙ ПРИНЦ**
- Яхья Яхлюф (Палестина) — НАДЖРАН В ЧАС
ИСПЫТАНИЙ**
- Мария Луиза Кашниц (ФРГ) — ДЛИННЫЕ ТЕНИ**
- Меджа Мванги (Кения) — ЖЕРТВА ДЛЯ ГОНЧИХ ПСОВ**
- Михаил Садовяну (Румыния) — ЧЕКАН
ВАЛЛИЙСКИЙ РАССКАЗ**
- Энгус Уилсон (Великобритания) — ЧТО ЕДЯТ БЕГЕМОТЫ**

Цена 1 руб. 30 коп.

Ван Мэн

родился в 1934 году.
Начал печататься
в 1955 году.

Повести и рассказы
Ван Мэна, изданные
в последние годы,
пользуются
неизменным успехом
у читателей.

Его рассказ
"Весенние голоса"
получил
первую премию
на Всекитайском
конкурсе

лучших рассказов
1980 года.

В 1981 году
повесть Ван Мэна
"Мотылек"
удостоена
первой премии
журнала "Вэнь бао"
за лучшие повести
1977—1980 годов.

Шэнь Жун

родилась в 1935 году.
Печатается
с 1975 года.

Автор двух рома-
нов, повестей
и рассказов.

Ее повесть
"Средний возраст"
в 1981 году
удостоена
первой премии
журнала "Вэнь бао"
за лучшие повести
1977—1980 годов.

Фэн Цицай

родился в 1942 году.
Печатается
с 1977 года.

Автор романа,
повестей
и рассказов.
Повесть Фэн Цицай
"Крик"

в 1981 году
удостоена
второй премии
журнала "Вэнь бао"
за лучшие повести
1977—1980 годов.